НЕИЗДАННЫЙ ДНЕВНИКЪ

МАРІИ

БАШКИРЦЕВОЙ

И ПЕРЕПИСКА

СЪ ГЮИ-ДЕ-МОПАССАНОМЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

М. ГЕЛЬРОТА.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЖАЛИТА“.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Есть особый жанр писем — письма незнакомок. Такие письма пачками приходят к людям знаменитым и, как правило, их не удостаивают ответом. Но бывают исключения.

Очень любопытна переписка Ги де Мопассана с незнакомкой, которая под псевдонимом «Р.Ж.Д.» первой обратилась к любимому писателю с письмом.

В этой переписке молодая особа всерьез заинтересовала своего знаменитого адресата, разговаривала с ним на равных и дала отставку, заявив: «Вы не тот, кого я ищу. Но я никого не ищу, ибо полагаю, что мужчины должны быть аксессуарами в жизни сильных женщин. Невозможно поручиться за то, что мы созданы для друг друга. Вы не стоите меня. И я очень жалею об этом. Мне так хотелось бы иметь человека, с которым можно было бы поговорить».

Она оборвала переписку, и все попытки со стороны Мопассана возобновить ее были тщетны.

Незнакомка оказалась русской художницей Марией Башкирцевой (1860–1884). Переписку с Мопассаном она затеяла за несколько месяцев до своей смерти, зная, что умирает от чахотки.

Дневник Марии Башкирцевой, изданный впервые в 1887 году во Франции, вызвал настоящую сенсацию.

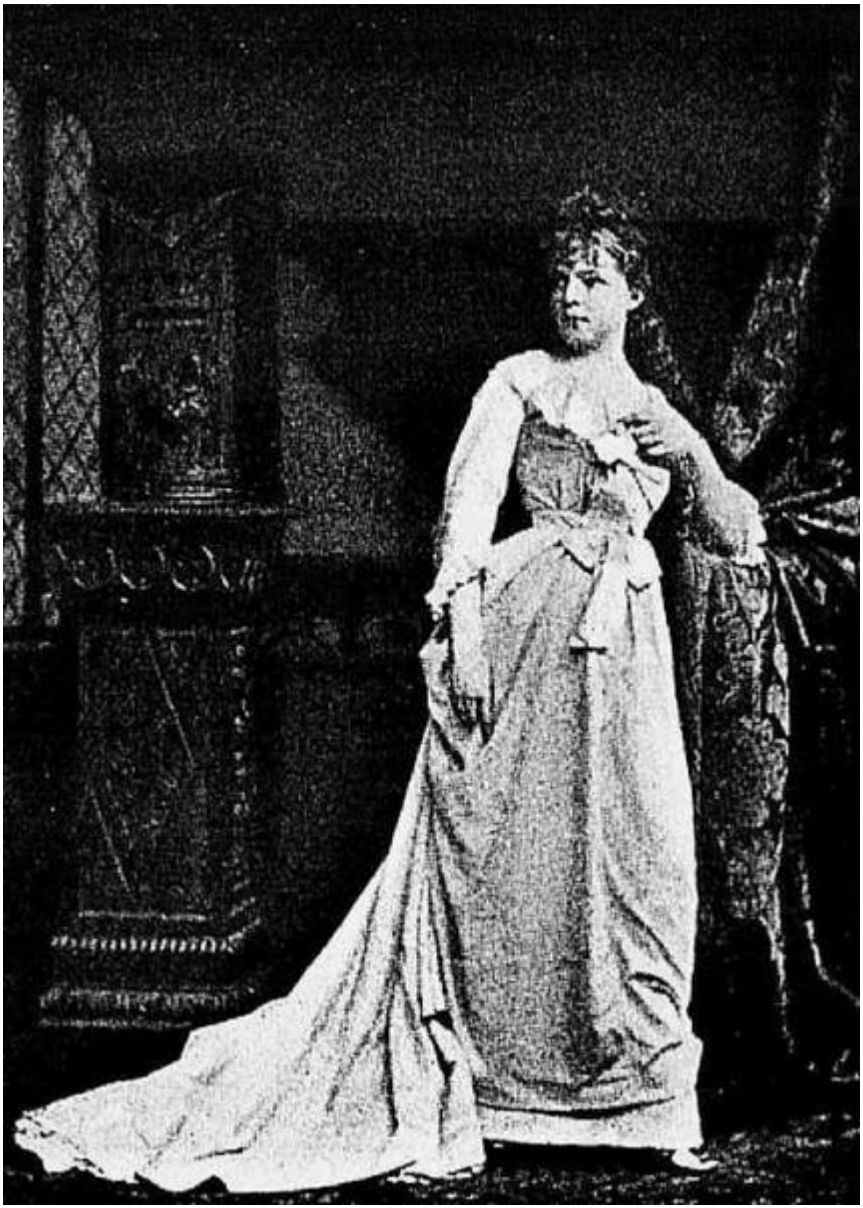
Мопассан узнал о том, кем была его адресатка только после ее смерти и посетив ее могилу, сказал: «Это была единственная Роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и так короток!»

- Мария Башкирцева
  - ○
  - ○ Предисловие к русскому изданию
  - ○ Предисловие к французскому изданию
  - ○ Переписка Марии Башкирцевой с Гиде-Мопассаном
  - ○ Дневник
    - ■ 1876 г.
    - ■ 1877 г.
    - ■ 1883 г.
    - ■ 1884 г.
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13

Мария Башкирцева
Неизданный дневник Марии Башкирцевой и переписка с Ги де-Мопассаном

Дозволено цензурою. Одесса 24 мая 1904 года.



Мария Башкирцева.

Ги де-Мопассан.

Предисловие к русскому изданию

В первый раз предлагаемый том «Дневника» Башкирцевой, вместе с приложением ее переписки с Ги де-Мопассаном, издан был на французском язык журналом «La Revue» в 1901 году. Как и первые два тома, он представляет собою только часть того рукописного материала, который остался после Башкирцевой. Необыкновенная интеллектуальная энергия и, как выражается Франсуа Коппэ, железная воля, скрывавшаяся за внешностью очаровательной женщины, — эта энергия и воля очень рано стали требовать выхода. И вот, начиная с двенадцатилетнего возраста, она все свои досуги посвящает «Дневнику». Это единственный верный хранитель всех ее страстных желаний, тревог и дум. Ему же она доверяет и все те мимолетные мысли и внутренние переживания, которые обыкновенно остаются самым интимным достоянием человеческой души, — в особенности души женской. О них не говорят, еще меньше о них пишут. Они так и остаются затаенными, невысказанными.

Надо думать, что эти интимные признания не дешево обходились Башкирцевой. Далеко не всегда она чувствовала себя хорошо, когда они лежали перед нею в виде исписанных страниц «Дневника». По крайней мере, в разных выражениях у нее не раз встречается фраза, с которою читатель встретится ниже: «нынешний вечер я презираю себя, презираю эти записки». Тем не менее «Дневник» продолжал обогащаться признаниями, так как она сама смотрела на него, как на «человеческий документ», в который она решила вносить «самую точную, самую беспощадную правду». И когда эта правда увидела свет, она произвела огромное впечатление. За короткое время «Дневник» выдержал несколько изданий на главных европейских языках и вызвал целую массу самых восторженных отзывов. Даже «великий старец» Гладстон почувствовал потребность поделиться с читателями тем впечатлением, какое произвело на него чтение «Дневника». И в специально посвященной ему статье он называет этот «человеческий документ» одной из замечательнейших книг нашего столетия.

Но далеко не все умеют читать такого рода исповеди. Далеко не все любят такие затаенные признания, когда они лежат перед ними в виде раскрытой книги, куда каждый может заглянуть. Одни видят в них ложь и поклеп на человеческую природу, другие — тщеславие и манию величия. Так и посмотрели некоторые русские критики на Башкирцеву. В их глазах она оказалась тщеславным ничтожеством, которое только и жаждет,

чтобы наделать шуму, чтобы о нем говорили.

Башкирцева как бы предвидела такое отношение к себе и заранее ответила на него. «К чему лгать, к чему позировать? — спрашивает она себя — «да, во мне живет жажда, если не надежда, остаться на этой земле во что бы то ни стало. Если смерть не настигнет меня в молодости, я надеюсь пережить себя, как великая художница. В противном случае я завещаю издать мой дневник, хотя он и может быть *только интересен*»[1].

Эти строки написаны ею всего за несколько месяцев до смерти, когда и в печати и в мире художников о ней уже говорили как о первоклассном таланте, от которого, в виду ее молодости, можно ожидать целого ряда гениальных произведений. Но сама Башкирцева, видела себя только *накануне* настоящего труда, бесконечно далекой от того, что могло бы хоть сколько-нибудь удовлетворить ее благородное честолюбие.

И трудно было бы привести пример такой суровой, такой жестокой требовательности к себе, какая таилась глубоко в душе этой замечательной русской женщины. Малейший подъем настроения и веры в свои силы она искупала муками глубокого, никому неведомого отчаяния, — и не раз у нее являлось желание умереть. В эти моменты отчаяния она не раз готова признать себя жалкой бездарностью, которой только и остается выйти замуж за какого-нибудь «советника» и «быть как все». Но тут же бесплодная и банальная жизнь этих «всех» внушает ей чувство глубокого отвращения, — ведь она их достаточно наблюдала в окружавшем ее «избранном» обществе! Огромный запас благородных сил ума и души берет верх, — и она с удвоенной энергией берется за работу.

Все свое время, все свои помыслы она отдавала страстно любимому ею искусству. Ему она и в последний момент своей кратковременной жизни посвящает свою уже угасающую мысль. Казалось бы, что искусство должно было поглотить ее всю, без остатка. Однако, у Башкирцевой всегда хватало сил на удовлетворение других запросов своей богато одаренной индивидуальности, — и удовлетворяла она их не по-дилетантски. Она не только читала, — она изучала в подлинниках, из первых рук, шедевры человеческого ума: когда Франсуа Коппэ, незадолго до ее смерти, нанес ей первый и единственный визит, он застал ее за чтением в подлиннике самых возвышенных и глубоких страниц Платона.

Эта упорная умственная работа коренным образом повлияла на всю ту систему понятий и представлений, которую она унаследовала от воспитавшей ее среды. Весь строй ее миросозерцания становится совершенно иным, и ломка идет

таким же лихорадочно быстрым темпом, как и вся ее внутренняя жизнь. Но и здесь, в сфере умственной жизни, Башкирцева прежде всего художник. Как художник она судит и о таких политических деятелях, как Гамбетта и Клемансо. Когда умер Гамбетта, она с чувством искренней скорби восклицает: «да, Гамбетта был поэзией и разумом нашего поколения!» А когда Клемансо в палате депутатов произнес однажды речь об избираемости судей, то ее прежде всего поражает художественная сила ясности и точности выражений. «Здесь все сжато, как в любой картине Гольбейна»!

Эта жажда ясности, точности и ничем не прикрашенной жизненной правды руководила ею и как художницей, и как автором «Дневника». Уловить «натуру» во всей ее «грандиозной простоте» — вот ее собственная формула, в которую она не раз облекала свои требования, как от искусства, так и от литературы. В Бальзаке она видела конечное завершение этой «грандиозной простоты», а Золя она называет не иначе, как «гигантом». «Я читаю Золя и боготворю его», пишет она незадолго до своей смерти. А в отдельно изданном томе «Lettres de M. Baschkirtzeff» мы находим единственное письмо ее к Золя, где она пишет ему: «Вы великий ученый и великий художник. Но что меня больше всего восхищает в Вас, так это Ваша страстная любовь к истине и правде».

Та же основная черта интеллектуального и художественного темперамента Башкирцевой проглядывает и в ее оценке Мишле и Тэна. Возвышенность исторического миросозерцания и благородный идеализм Мишле произвели на нее сильное впечатление. Но он казался ей туманным и вычурным. Напротив, в суровом Тэне она высоко ценила ту же неподкупную, как ей казалось, правду жизни и «натуры», которая ее поражала в Золя. И не Мишле научил ее оценить грандиозную эпопею конца XVIII века, — это сделал Тэн, вопреки своему собственному желанию.

Не подлежит никакому сомнению, что именно на почве этих художественных и литературных симпатий вырос и тот эпизод в жизни Башкирцевой, который французские издатели предлагаемой книги назвали «Головной идиллией».

Мы разумеем ее переписку с Ги де-Мопассаном.

При тех требованиях, какие предъявляла Башкирцева к искусству и литературе, произведения Ги де-Мопассана должны были показаться ей настоящим художественным откровением. Мы безусловно должны поверить ее искренности, когда она в первом же письме своем заявляет ему, что чтение его произведений доставляет ей чувство блаженства. Это, действительно, не фраза. Сжатость, простота, необыкновенный дар проникновения в самые

отдаленные глубины человеческой души, видимый скептицизм и равнодушие, за которыми таилась страстная жажда жизни, — все это неизбежно должно было поразить и ослепить такую натуру, как Башкирцева. А глубокая скорбь, которая проникает собою даже самый цинизм Мопассана, — эта глубокая скорбь составляла затаенную, интимную часть ее собственной души. Уже в 16 лет она пишет своей матери, что «ничто, ничто не сможет заглушить пожирающую меня печаль и скорбь». А позднее у нее в минуты откровенности вырывается следующее глубоко искреннее признание: «жизнь — это сплошная, беспрерывная ткань бедствий и печалей. Говорю это теперь так же серьезно, как говорила это в самые радостные минуты своей жизни».

Подобно Мопассану, она тоже везде и во всем открывала «человеческую низость». Как она сама выражается, она воспринимала эту низость «кончиком уха» и в родстве, и в дружбе, и во всех человеческих отношениях — везде, в конце концов, блеснет то жадность, то глупость, то зависть, то несправедливость, то просто на просто подлость. А главное — ссылается она уже прямо на Мопассана — человек всегда и везде бесконечно одинок. И тем не менее она так же любила эту «беспрерывную ткань бедствий и печалей», как любил ее Мопассан.

Естественно, что она увидела в нем не только родственного ей *художника*, но и родственного ей *человека*. И когда она в одно прекрасное утро проснулась с капризным желанием выслушать оценку своего ума из уст призванного знатока, — она остановилась на Мопассане.

Действительно ли ею руководило здесь одно только желание быть оцененной? Не таилась ли здесь едва сознаваемая надежда встретить и полюбить «настоящего человека». По крайней мере, в одном из своих писем она говорит ему: «я избрала именно Вас, в надежде, что впоследствии я буду Вам безгранично поклоняться!» А в одной из записей «Дневника» она сознается, что этот незнакомый ей человек поглощает все ее думы.

Как бы там ни было, в первом же письме Башкирцевой Мопассан воспринял что-то незаурядное, серьезное и глубоко-привлекательное. Он получал немало писем от всякого рода неведомых почитательниц и поклонниц, но как и все избалованные писатели и художники, обыкновенно презрительно отмалчивался. Но тут он сразу откликнулся. Началась переписка, в которой Мопассан то опускается до деланной грубости, то поднимается до глубоко-искренней интимной исповеди. Он делает все, чтобы как-нибудь узнать эту таинственную незнакомку, которая его волнует, беспокоит, очаровывает и

восхищает. Но так они и не встретились: она так же капризно оборвала переписку, как капризно затеяла ее.

В это время Башкирцева была уже безнадежно больна, и смерть приближалась беспощадно, неуклонно и быстрыми шагами. Она ясно видела эту близкую развязку, но страстное желание прожить хотя бы еще один год, чтобы закончить начатую картину,[2] побеждает весь ужас этого сознания. Вот-вот ее перестанут мучить эти ужасные лихорадки, она опять сможет взяться за работу, и картина будет закончена… «Меня похоронят в 1885 году», пишет она 1-го Октября 1884 года, а 31 Октября она уже лежала в гробу.

Башкирцева так и умерла с горьким сознанием, что она еще «ничто», что в 24 года она еще не успела ничего сделать.

Но жизнь оказалась менее требовательным, менее строгим судьей, чем она. Ее надежда «*остаться* на этой земле во что бы то ни стало» не оказалась дерзкой иллюзией, — и в галерее выдающихся женщин она неоспоримо занимает одно из почетнейших мест…

М. Гельрот.

Предисловие к французскому изданию

Мария Башкирцева жила мечтой и во имя мечты. Смерть унесла ее, когда эта мечта уже осуществлялась.

Никакая артистическая среда не способствовала развитию ее призвания. По прихоти судьбы она родилась в русской дворянской семье, которая по своим унаследованным традициям роковым образом стояла далеко от мира искусств и его интересов. Она жила жизнью тех богатых людей, которые презрительно относятся ко всякому труду и пустоту своей праздной жизни заполняют бесконечной массой ничтожных пустяков.

Среди этих людей Мария чувствовала себя чужою. А так как ее желания, ее стремления и все ее усилия могли только вызывать в ней смутное недовольство жизнью, то ей легко было бы прийти к выводу, что причина этого лежит в ней самой, а не в том довольном собою большинстве, которое ее окружало. Но хрупкая двенадцатилетняя девочка все-таки чувствовала безумное желание бежать от пошлости. Она испытывала волнение при мысли, что «ею будут восхищаться не за платье, а за нечто другое», как она наивно выражалась. Под этим «нечто» она разумела музыку. Это была первая форма, в которую облеклось для нее искусство, чтобы уже на веки овладеть ее душой. Она не долго оставалась ребенком. Как бы предчувствуя кратковременность своей жизни, она торопилась накоплять в своей душе впечатления и ощущения, собираясь наслаждаться ими потом, в будущем, — если только у нее хватит на это времени.

В ранней юности она посвятила себя живописи. Ее богатство и происхождение были для нее такими же сильными препятствиями, как для других нищета.

Быть может, ей легко было бы вырваться из круга семьи бедной и никому неизвестной и бежать в мастерскую художника, на которую вся семья смотрела бы, как на храм. Но неизмеримо труднее было резко порвать с роскошной жизнью знатной семьи, где ей, красивой и грациозной женщине, предстояло бы только и наслаждаться всеобщим поклонением. Мария не сказала нам, сколько страданий доставляла ей окружавшая ее среда. На то самое искусство, которому она с трепетом посвятила себя, самые близкие ей люди — ее друзья, ее отец — смотрели, как на «ремесло, достойное плебеев». Чтобы дочь предводителя

дворянства писала картины и продавала их! Fi, donc! Не смейтесь, впрочем, над этим кастовым предрассудком. Разве современная провинциальная буржуазия не говорит с чувством гордого удовлетворения:

«Моя дочь пишет красками или играет на фортепиано, как светская дама, а не как артистка»?

Госпожа Башкирцева сумела оградить Марию от тех ран, которые обыкновенно наносят человеку равнодушие или пренебрежение. Глубокая любовь матерей помогает им понимать все. Поэтому-то она поселилась в Париже и поместила свою дочь в мастерскую Жюлиана. Учителя сначала неприязненно отнеслись к ней, приняв ее за одну из тех «любительниц», которые только способны профанировать искусство, подобно тому, как грубые и неуклюжие трутни одним своим прикосновением портят нежные венчики цветов. Но желанный день настал, — и все профессора и коллеги Марии признали в ней истинную художницу.

К сожалению, эти счастливые, светлые минуты она испытала уже почти накануне смерти: они для нее больше не повторялись. Предчувствие близкого конца угнетало Башкирцеву, заставляло ее тосковать. Вся трепеща под влиянием этой тягостной мысли, она продолжала писать и переносила часть своей жизни на свои полотна.

Много и глубоко страдала молодая девушка от столкновения со всякого рода ничтожной мелочностью и пошлостью. Как интеллектуально высоко развитая личность, она не переносила шаблонных взглядов и вульгарных мнений условной морали. Все это глубоко возмущало ее. Кроме того она страдала, как художница, потому что всякая дисгармония жестов и движений, все, что носило тяжелый, неуклюжий характер, было нестерпимо для нее, задевало ее эстетическое чувство.

Но не против этих, столь плодотворных, душевных страданий восставала Мария. Ее возмущала жестокость природы, которая наделила ее всеми дарами и внешней и внутренней красоты, наделив ее в то же время слишком хрупким здоровьем. Начался мучительный период постоянных консультаций с врачами, заведомо бесполезных лекарств и жажды утешающей лжи. Наступили трагически однообразные дни безнадежной болезни.

Обыкновенно считается профанацией заглядывать в тайники души молодой девушки. Марии Башкирцевой приходилось, без сомнения, внушать нежное чувство дружбы, быть может, даже сильной любви. Но она сама была слишком молода, чтобы любить. Для исключительных натур, каковы женщины-артистки, существуют и исключительные законы. Страсть редко овладевает ими в ранней молодости. В эту пору одни борются с невзгодами

неудачных браков, разрывают их и отдаются искусству, другие же, вынужденные беспрерывно работать, отталкивают от себя всякое сильное чувство, которое могло бы захватить их всецело. И лишь потом, когда молодость уже приобретает прелесть невозвратного, все неудовлетворенные чувства женщины опять громко заявляют о себе. Глубоко верно поэтому замечание Башкирцевой, что «мужчина или женщина, живущие во имя какого-либо призвания и думающие о славе, любят совсем иначе, чем те, у кого в любви вся жизнь».

Молодая девушка не выносила сентиментальных пошлостей. В ней едва проявляется ребяческая страсть разыгрывать влюбленную, — так иная девочка любит представлять себя матерью. Но в то же время она сумела прелестно изобразить трепет души юной девушки, готовой превратиться в женщину.

«Мы видели карточку ***, красоты необыкновенной. Мы не выдержали и поцеловали ее. Странную грусть навеял на меня этот поцелуй безжизненного картона, и я промечтала целый час. Кто будет моим кумиром? Никто. Я буду искать славы и человека. Может быть, сердце и окажется когда-нибудь переполненным через край и тогда оно случайно оросит какой-нибудь придорожный камень, — как это уже случилось однажды.[3] Оно переполнится, прольется, но не опустеет: его богатые источники никогда не иссякнут. Я не боготворю никого, но светильник моего воображения зажжен; буду ли я счастливее того сумасшедшего, которого называли Диогеном»?

Сделавшись старше, она мечтала полюбить человека выдающегося. Подобно большинству женщин, и она смотрела на любовь, как на религию, для которой необходим Бог. Так, Ги де-Мопассану она пишет: «я избрала именно Вас, в надежде, что впоследствии я буду Вам безгранично поклоняться!»

Необходимо заметить, что Мария, как женщина с высоко развитым интеллектом, мало обращала внимания на внешние дары. Она жаждала сделаться «наперсницей прекрасной души». Она мечтала о гениальном художнике, а не об очаровательном принце.

Вслед за этой «головной идиллией», которую она начала из любопытства и порвала из прихоти и которую она пережила исключительно умом, а не сердцем, она пережила другую идиллию, полную скорби и последней агонии жизни.

Часто связывали имена Бастиена Лепажа и Марии Башкирцевой. Создалась даже легенда, что искусство для Башкирцевой было не целью, а убежищем после разочарования, — как будто достаточно одного только разочарования, чтобы из влюбленной девушки создалась

артистка. Дело объясняется проще. Мария восторженно поклонялась искусству, и великий, окруженный сиянием жрец его показался ей символом ее религии. Так экзальтированно-набожные женщины сквозь фимиам молитвы в конце концов смешивают служителя Бога с самим Богом.

Но сияние померкло, и в призванном, законченном художнике Мария увидела слишком много человеческого. Сначала она сердилась на него за то, что он не соответствовал тому идеальному образу, который она себе создала. Но в дальнейшем между обоими художниками установились дружеские отношения, несмотря на то, что их разделяли с одной стороны, кастовые предрассудки, унаследованные Марией от своих предков, а с другой — недоверие Бастиена Лепажа к «светским женщинам».

Одновременное медленное угасание сблизило их раньше, чем этого можно было ожидать. В августе 1884 г. они как-то сразу стали чаще посещать друг друга, и беседы их приняли более дружеский задушевный характер. Но в это время они уже витали в мире, недоступном земным чувствам. И, быть может, этот смутно чувствуемый, но непережитый роман раскрылся перед ними за каких-нибудь три недели до смерти Марии, — в тот день, когда умирающий Бастиен Лепаж нанес ей последний визит.

В этот день Мария надела белое шелковое платье, ниспадавшее тяжелыми складками, — складками савана. Тонкие и нежные, как иней, кружева трепетали вокруг нежно разового лица, напоминавшего умирающий цветок. Мария была полна такой очаровательной и непринужденной грации, что у художника невольно вырвалось восклицание:

«Ах, если бы я мог рисовать»!

Они обменялись взглядом безнадежного отчаяния: он был подавлен слишком поздно нахлынувшим восторгом, она ужаснулась перед лицом того страшного мрака, который скоро навеки поглотит ее. В глазах ее блестели невыплаканные слезы безмерной грусти о своей неизжитой жизни. Но это продолжалось всего лишь одно мгновение — краткое и жгучее, а та идиллия нашла свое высшее, конечное завершение: 31 октября 1884 г. умерла Мария Башкирцева, 10 декабря 1884 г. скончался Бастиен Лепаж. Две гениальные, утонченные страданием, души мистически соединились в смерти.

Мария все же оказалась победительницей: смерть не всецело похитила ее у нас. Она исполнила свое смелое желание и завещала нам наследство, которое создавала с такой жадной торопливостью.

Молодым девушкам, которые праздно влачат свою

бесполезную жизнь, она дала пример упорного и тяжелого труда, который не думает о награде. Так и все привилегированные баловни судьбы могли бы уменьшить ее чудовищную несправедливость, взяв на себя выполнение какой-нибудь художественной или гуманитарной задачи. Если бы на ряду с массой бедных женщин, которые сгибаются под бременем труда из-за насущного куска хлеба, — богатые брали на себя другую, идейную часть общего труда, то эта общность создала бы истинное братство, братство душ.

Мария Башкирцева вдвойне дорога людям, которым близки высшие запросы нашей духовной жизни. В почетной галерее знаменитых мертвецов ее молодое улыбающееся лицо придает нам бодрость и силы. Теперь, согласно ее желанию, она покоится на кладбище Пасси. Мать ее, несмотря на безутешную скорбь от понесенной потери, все же имела последнее утешение здесь, на земле: ее дочь завещала ей свою душу. Набожно храня память о своей дочери, она позволила нам, напечатать эти неизданные тетради, из которых часть написана Марией, когда она еще была шестнадцатилетней девочкой. От них так и веет радостью и счастьем юного здорового существа. Другие же написаны ею в течение последних месяцев ее земного существования, в 1883 и 1884 гг. На протяжении всех этих страниц Мария черта за чертой правдиво изображает свой собственный внутренний мир. Молодая девушка искренно рисует свои восторги, свои тревоги и сомнения, как и свое ребяческое тщеславие, — эту тень, за которою еще ярче выступает ее бурный, пламенный интеллект.

Мы не сомневаемся, что этот новый том будет дорог многочисленным известным и неизвестным друзьям Марии, как посмертное произведение той страстной художницы, воспоминание о которой еще так недавно вырвало из уст госпожи Адан следующее восклицание:

«Какой художественный восторг испытываешь при виде этого гениального усилия Марии Башкирцевой уловить все самые различные формы высшего идеала! Она сумела здесь воспользоваться всем, — рисунком, красками, чувством, даже недоступной нам душою мертвой природы!»

Ренэ д'Юльмес.

Переписка Марии Башкирцевой с Гиде-Мопассаном

Милостивый Государь!

Читая вас, я испытываю почти чувство блаженства. Вы боготворите правду, которую нам раскрывает природа, и находите в ней источник поистине великой поэзии. Вы волнуете нас, рисуя нам движения души с тонкостью, столь глубоко проникающей в человеческую природу, что мы невольно узнаем в них самих себя и начинаем любить вас чисто эгоистическою любовью. Вы скажете, это — фраза? Не будьте-же строги! она в основе глубоко искренна. Мне хотелось бы, конечно, сказать вам что-нибудь исключительное, захватывающее, но как это сделать? — это так трудно! Я тем более сожалею об этом, что вы достаточно выдающийся человек, чтобы внушить романическую грезу стать доверенной вашей прекрасной души, — если только правда, что ваша душа прекрасна. Но если ваша душа не прекрасна, если вас вообще такие вещи не занимают, — то я прежде всего жалею о вас самом. Я назову вас литературным фабрикантом и пройду мимо.

Уже год, как я собираюсь написать вам, но… не один раз мне казалось, что я слишком возвеличиваю вас — пожалуй, не стоит труда. Но вот, дня два тому назад, я прочитываю в газете, что кто-то почтил вас милым посланием, и вы просите эту прелестную особу сообщить вам адрес, чтобы ответить ей. Во мне тотчас-же заговорила ревность, меня вновь ослепило ваше литературное дарование, — и вот я перед вами.

Теперь выслушайте меня хорошенько: я навсегда останусь для вас неизвестной — говорю это очень серьезно, — и не захочу вас увидеть даже издали. Как знать: быть может, ваше лицо, быть может, ваша голова не понравятся мне? Я знаю только одно, что вы молоды и не женаты, — два очень существенных пункта, даже в сфере туманных грез.

Но могу вас уверить, что я обворожительно хороша. Быть может, эта сладкая мысль побудит вас ответить мне. Мне кажется, что если бы я была мужчиной, я бы даже переписываться не захотела с какой-нибудь безвкусно и нелепо наряженной старой англичанкой… что бы об этом ни думала мисс Гастингс[4].

Канн.

* * *

Милостивая Государыня!

Я нисколько не сомневаюсь, что мое письмо вас разочарует. Позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за ваше милостивое отношение ко мне и любезные отзывы.

А теперь побеседуем, как благоразумные люди!

Вы хотите, чтобы я вас избрал своей доверенной? По какому праву? Я вас совершенно не знаю. Быть может, ваш ум, ваша душа, ваши стремления, все ваше существо вовсе не соответствуют моему собственному духовному складу. Зачем-же я стал бы говорить с вами о таких вещах, о которых могу говорить в живой, интимной беседе с женщинами, связанными со мной узами дружбы? Не поступил ли бы я, как безрассудный и непостоянный друг?

Что может прибавить тайна к прелести беседы в письмах?

Не вытекает ли вся прелесть дружбы между мужчиной и женщиной (я разумею дружбу целомудренную), — главным образом, из удовольствия видеть друг друга, беседовать, заглядывая друг другу в глаза, и, когда сидишь за письмом, мысленно вновь иметь перед собой милый образ, приветливо витающий между строк?

Как можно писать об интимных вещах, раскрывать глубину своего я существу, весь физический образ, цвет волос, улыбка и взгляд которого тебе неизвестны?

Какой у меня может быть интерес рассказывать вам: «я сделал это, я сделал то», когда я знаю, что все это способно вызвать в вас только лишь представление о вещах, мало интересных, ибо вы не узнаете меня в них?

Вы делаете вскользь намек на письмо, которое я недавно получил: это писал мужчина, просивший у меня совета, — вот и все.

Перехожу к письмам незнакомок. В течение двух лет я получил таких писем от пятидесяти до шестидесяти. Как мне среди этих неизвестных женщин выбрать себе доверенную своей души, как вы выражаетесь?

Если они готовы показаться лично и познакомиться, как это делают в обществе обыкновенные буржуа, то тут, конечно, могут возникнуть отношения дружбы и доверия. Если-же нет, то с какой стати пренебречь очаровательными подругами, которых знаешь, ради подруги, о которой ничего не знаешь?.. Может быть она и очаровательна, но ведь может же она оказаться особой неприятной в каком нибудь отношении! Все это, быть может, и не весьма галантно, не правда ли? Но если бы я бросился к вашим ногам, мог ли-б ли вы верить прочности моих привязанностей?

Простите меня, сударыня, за эти рассуждения, в которых

скорее отражается человек здравого смысла, чем поэтически настроенной души, и примите уверения в моей благодарности и преданности.

Ваш Ги-де Мопассан.

Простите за помарки в моем письме: без этого я никогда не обхожусь, а времени переписывать у меня совершенно нет.

* * *

Меня вовсе не удивляет ваше письмо, милостивый государь, и я нисколько не домогалась того, что вы, по-видимому, приписываете мне.

Но… прежде всего я не предъявляла к вам требования сделать меня вашей доверенной: это было бы слишком уж простодушно. И если у вас найдется досуг вновь перечитать мое письмо, вы убедитесь, что вы не удостоили уловить с первого же взгляда иронического и непочтительного тона, принятого мной по отношению к себе самой.

Вы указываете мне также на пол вашего другого корреспондента. Весьма благодарна вам за это успокоение, но… право, оно было лишнее, так как моя ревность была чисто отвлеченного характера.

Ответить мне вашим доверием, в уверенности, что я требую этого, так сказать, с места в карьер, значило бы, остроумно посмеяться надо мной. Признаюсь, если бы я была на вашем месте, я бы так и сделала, ибо я бываю иногда очень весела. Это однако не мешает мне часто бывать достаточно грустной, чтобы грезить об излияниях в письмах к неизвестному философу и разделять ваши впечатления о карнавале[5].

Ваша хроника превосходна и глубоко прочувствована, — два столбца, которые охотно прочитываешь три раза кряду. Но, не в обиду будь вам сказано, что за банальность эта история о старушке-матери, мстящей пруссакам! (Это, должно быть, написано по прочтении моего письма!).

Что касается того, может ли тайна что-нибудь прибавить к прелести наших отношений, — все зависит от вкуса… Пусть это вас не забавляет, прекрасно! но меня… меня это чертовски забавляет. Признаюсь в этом совершенно искренне, равно как и в том, что ваше письмо, каково бы оно ни было, вызвало во мне чисто детскую радость.

И знаете, если это вас не забавляет, то это только потому, что ни одна из ваших корреспонденток не сумела вас заинтересовать, — вот и все. Если-же и мне самой не удалось

взять надлежащий тон, то я достаточно благоразумна для того, чтобы вам пожелать лучшего успеха в этом отношении.

Только шестьдесят писем?.. Я была уверена, что вами в большей мере завладели…

И вы всем отвечали?

Быть может, мой интеллектуальный темперамент не гармонирует с вашим, — говорите вы… Вы, пожалуй, слишком прихотливы… Наконец, я только воображаю, что знаю вас… (впрочем, это и есть конечный эффект, производимый романистами на миленьких и глуповатых женщин). Что-ж, может быть, вы и правы!

Быть может, простота и безыскусственный тон моих писем заставили вас счесть меня какой-нибудь юной сентиментальной особой или, что еще хуже, искательницей приключений… Такая мысль была бы для меня поистине мучительна.

Пожалуйста, не извиняйтесь за недостаток поэтичности, галантности и т. д.

Без сомнения, я написала вам плоское письмо.

Я очень живо сожалела бы, если бы мы дальше первого шага не пошли. Неужели мы на этом остановимся? Мне тем более было бы жаль, что у меня рождается глубокое желание доказать вам в один прекрасный день, что я не заслуживаю быть вашим 61-м номером.

Что-же касается ваших рассуждений, то они хороши, но исходят из ложных посылок. Я прощаю их вам, прощаю вам даже ваши помарки, старуху и пруссаков. Будьте счастливы!

Однако, если каких-нибудь двух-трех смутных указаний было бы достаточно, чтобы привлечь на свою сторону красоты вашей старой души, уже лишенной чутья, то можно было бы, например, сказать: волосы — светло-русые, рост — средний, родилась между 1812 и 1863 годом. А что касается нравственного облика… Но нет, — вам показалось бы, что я себя расхваливаю, и вы вмиг догадались бы, что я родом из Марселя.

P. S. Простите за пятна, помарки, etc. А между тем, я то не ленилась переписывать, даже три раза.

Канн, 1, rue du Rèdan.

* * *

Да, сударыня, второе письмо! Это меня изумляет. Я кажется, испытываю смутное желание наговорить вам дерзостей. Я могу себе это позволить, так как я ведь не знаю вас. Итак!.. Нет, я пишу вам, потому что неимоверно скучаю!

Вы меня упрекаете в банальности за эпизод со старухой и пруссаками, но… ведь все в этом мире — одна только банальность. Все, что я делаю, банально, все, что я слышу, банально. Все идеи, все фразы, все споры, все верования — все банально.

А писать незнакомой женщине, — разве это не банальность, и к тому же еще самая невероятная и, если хотите, детская банальность?

В общем итоге — я в данном случае порядочный глупец. Вы знаете меня более или менее. Вы знаете, что вы делаете и к кому вы обращаетесь. Вам говорили обо мне то или другое, хорошее или дурное, мне это безразлично. Если вам даже и не случалось встречаться с лицами, принадлежащими к кругу моих многочисленных знакомых, то вы все-таки читали в журналах статьи обо мне, о моей наружности, моей нравственной физиономии. Словом, вы забавляетесь, отлично сознавая, что вы делаете. Ну, а я?.. Что я о вас знаю?..

Правда, — возможно, что вы молодая и очаровательная женщина, и я, быть может, почел бы за счастье когда-нибудь поцеловать ваши ручки…

Но вы можете также оказаться старой консьержкой, которая наглоталась романов Евгения Сю. Вы можете оказаться ученой компаньонкой, зрелой и сухой, как метла.

А в самом деле, вы — худая? Не слишком, не правда ли? Я был бы в отчаянии, если бы моя корреспондентка оказалось худой. Я полон всяческих подозрений с незнакомыми мне женщинами.

Мне случалось попадаться в курьезные ловушки. Однажды какой-то пансион молодых девиц затеял со мной переписку под диктовку одной из учительниц пансиона. Мои ответы переходили в классах из рук в руки. Это была очень забавная хитрость, и я от души смеялся, когда узнал всю эту историю из уст самой учительницы, писавшей мне.

Вы — светская женщина? Сентиментальная или просто романическая, или же, еще проще, женщина, которая скучает и ищет развлечений? Я, видите ли, далеко не тот человек, которого вы, быть может, ищете.

Во мне нет ни на грош поэзии. Я ко всему отношусь индифферентно и две трети своего времени провожу в глубокой скуке. Последнюю треть времени я употребляю на то, чтобы писать строки, которые стараюсь продавать как можно дороже, и я прихожу в отчаяние при мысли, что вынужден заниматься этой отвратительной профессией, которая доставила мне честь быть вами столь лестно отмеченным.

Вот вам и мои признания. Что вы скажете на это, сударыня?

Вы, наверное, найдете, что я слишком бесцеремонен, — простите меня! Когда я пишу вам, мне кажется, что я шагаю по темному подземелью, полный страха, нет ли впереди меня какой-нибудь ямы. И я щупаю дорогу палкой.

Какие вы любите духи, каким ароматом вы благоухаете?

Любите ли вы хорошую еду?

Какой формы ваше ухо?

А цвет ваших волос?

Музыкантша ли вы?

Я не спрашиваю, замужем ли вы. Если вы замужем, вы мне ответите, что — нет, если-же вы не замужем, вы мне ответите — да.

Целую ваши руки, сударыня.

Ги де-Мопассан.

* * *

Вы смертельно скучаете? Ах, какой вы жестокий!!! Это вы говорите для того, чтобы не оставить мне никаких иллюзий на счет мотива, которому я обязана вашим посланием. К слову сказать, оно явилось в благоприятный момент и очаровало меня. Это правда, что меня все это забавляет, но неправда, что я вас знаю даже настолько, как вы предполагаете. Клянусь вам, я не знаю ни цвета ваших волос, ни вашего роста, и, как частного человека, я вижу вас только в строках, которыми вы меня удостаиваете, да сквозь обнаруживаемую вами не малую дозу злостности и позы. И, однако, должна вам сказать, что плоский натурализм не мешает вам, и вы, право, неглупы. Я в ответ наговорила бы вам бездну комплиментов если-б меня не удерживало самолюбие.

Я не хочу, чтобы вы думали, что я вся излилась в этих признаниях.

Покончим сначала с банальностями. Это будет немножко длинно, ибо, знаете, вы их не мало нагромоздили.

Вы правы… если говорить вообще.

Но истинное искусство в том именно и заключается, чтобы заставлять нас проглатывать банальности, не переставая очаровывать нас, как это и делает природа со своим вечно глядящим на нас солнцем и предвечной землей, со своими людьми, построенными по одному шаблону и одушевленными почти одними и теми чувствами… Но… есть же музыканты, которые владеют только несколькими тонами, и художники, у

которых на палитре всего только какая нибудь пара красок! Впрочем, вы это знаете лучше меня и хотите только заставить меня позировать перед вами. Скажите, как это лестно!

Банальность, пусть так!.. Старуха с пруссаками в литературе, Жанна д'Арк в живописи, пусть!..

Действительно ли вы твердо уверены, что какой-нибудь лукавец (так ли я выразилась?) не открыл бы в этой сфере новой и будящей стороны?

Очевидно, что, как еженедельная хроника, ваша вещица даже очень хороша, но что я о ней думаю… А все прочие банальности по поводу вашей тяжелой профессии? Вы меня принимаете за буржуазную даму, которая считает вас поэтом, и стараетесь просветить меня на этот счет. Жорж Занд уже некогда хвастала тем, что пишет ради денег, а трудолюбивый Флобер плакался на свои чрезмерные творческие муки. И что-же? страдания, на которые он жалуется, действительно чувствуются читателем. Бальзак никогда на это не жаловался и всегда с энтузиазмом относился к тому, над чем собирался работать. Что касается Монтескье, то, если мне позволено будет так выразиться, вкус к науке был в нем столь жив, что если он послужил источником его славы, то он в то-же время стал и источником его счастья, — как вероятно, выразилась бы учительница вашего пансиона.

Ну, а относительно того, чтобы продавать свои строки подороже, то я нахожу, что это очень хорошо, ибо никогда еще не было истинно блестящей славы без золота, как это и говорит еврей Баахрон, современник Иова (см. отрывки, собранные ученым Шпицбубе в Берлине).

И еще я вам скажу: все выигрывает в хорошей оправе — красота, гений и даже вера. Разве не явился Господь самолично, чтобы объяснить своему слуге Моисею орнаменты ковчега и приказать ему, чтобы херувимы, которые должны охранять ковчег по бокам, были сделаны из золота и *отменной работы*.

И так, вот оно что: вы скучаете, вы ко всему относитесь безразлично, у вас нет ни на грош поэзии!.. Неужели вы думали меня этим испугать?

Я вижу вас отсюда. У вас должен быть довольно большой живот, коротенькая жилетка из материи неопределенного цвета, и последняя пуговица непременно должна быть оторвана. Одного я только не понимаю: как вы можете скучать? Я бываю иногда грустна, придавлена или гневна, но скучать… никогда.

Вы не тот человек, которого я ищу? Какое несчастье! (вот она консьержка!) Не будете ли вы так любезны объяснить мне, каков он должен быть, этот искомый человек?

Я никого не ищу, милостивый государь, и держусь того

мнения, что мужчины должны быть не более как аксессуарами для сильных женщин (вот она — сухая старая дева!)

Затем отвечу вам на ваши вопросы с глубокой искренностью, ибо я не люблю потешаться наивностью гениального человека, который дремлет после обеда в своем кресле, с сигарой во рту.

Худа? О нет, но и не толста ничуть. Светская, сентиментальная, романическая? Но как вы это понимаете? Мне кажется, все это отлично может ужиться рядом в одном и том-же человеке: все зависит от момента, случая, обстоятельств. Я — оппортунистка и в особенности подвержена моральным заразам — таким образом, может случиться, что и у меня вдруг не хватит поэтического чутья, точь в точь, как у вас.

Каким ароматом я благоухаю? Ароматом добродетели. Вульгарных благоуханий, иначе говоря, духов, я не признаю.

Да, я люблю хорошо поесть или, вернее, я в этом пункте даже прихотлива.

У меня маленькие, немного неправильной формы, уши, но красивые.

Глаза серые.

Да, музыкантша, но не такая отличная Пианистка, какова, по всей вероятности, ваша учительница.

Если-б я не была замужней, как я могла бы читать ваши ужасные книги?

Довольны ли вы моим послушанием? Если да, оторвите от жилетки еще одну пуговицу и думайте обо мне, когда сгущаются сумерки. Если нет… тем хуже! я нахожу, что дала вам достаточно в обмен за ваши фальшивые признания.

Осмелюсь спросить, кто ваши любимые композиторы и художники? А что — если-б я оказалась мужчиной?

(К этому письму приложен был рисунок, изображающий полного мужчину, спящего в кресле под пальмой на берегу моря. Возле стоит стол, на нем кружка пива; на краю стола потухшая сигара).

* * *

3 Апреля 1884 г.

Милостивая государыня! я провел пятнадцать дней в Париже, и так как я оставил в Каннах кабалистические знаки, по которым адресую вам письма, то я не мог раньше ответить.

А затем, знаете сударыня, вы меня страшно напугали! Вы мне цитируете одним взмахом пера, не предупредив меня, Ж. Занд, Флобера, Бальзака, Монтескье, еврея Баахрона, Иова и ученого

Шпицбубе из Берлина, и Моисея!

О! теперь я вас узнаю, прекрасная маска, — вы профессор шестого класса лицея Людовика Великого. Признаюсь вам, во мне уже давно шевелилось подозрение: ваши письма в самом деле отдавали нюхательным табаком. Посему перестаю быть галантным (был ли я таков?) и стану обращаться с вами, как с университетским служакой, т. е. как с врагом.

Ах, вы старый хитрец, старая пешка, старый грызун латыни, — вы хотели сойти за красивую женщину! И вы, наверное, пошлете мне ваши этюды, манускрипт, трактующий об искусстве и природе, с тем, чтобы я представил его в какой нибудь журнал и поговорил о нем в своей статье!

Какое счастье, что я вас не предупредил о своем пребывании в Париже! В одно прекрасное утро я увидел бы, как раскрываются двери и входит ко мне потертый старичок, кладет свою шляпу на пол и вытаскивает из-за пазухи сверток бумаги, перевязанный тонкой веревочкой. И он обратился бы ко мне со словами: «monsieur, я — та дама, которая…»

И так, господин профессор, отвечу все-таки на некоторые из ваших вопросов. Начну с того, что поблагодарю вас за некоторые подробности, любезно сообщенные мне о вашей наружности и ваших вкусах. Точно также благодарю вас за мой портрет, набросанный вами. Право, он похож на меня. Однако отмечу некоторые погрешности:

1) живот не так велик,

2) я никогда не курил,

3) я не пью ни пива, ни вина, ни алкоголя, ничего, кроме чистой воды.

В заключение, блаженное состояние за кружкой пива не есть моя любимая поза. Я гораздо чаще располагаюсь по восточному на диване.

Вы спрашиваете меня, какого художника из новейших я предпочитаю? — Миллэ.

Мой любимый композитор? Я питаю отвращение к музыке.

В действительности, я предпочитаю всем искусствам красивую женщину. Я ставлю хороший обед, настоящий обед, — редкостный обед, — почти на одну доску с красивой женщиной.

Вот мое profession de foi, господин старый профессор.

Я держусь того мнения, что если у человека есть какая-нибудь хорошая страсть, крупная страсть, ей нужно предоставить все место, пожертвовать для нее всеми другими; это я и делаю.

У меня были две страсти. Нужно было пожертвовать одной, и я немножко пожертвовал чревоугодием. Я стал воздержным, как верблюд, но прихотливым до того, что не знаешь, что в рот взять.

Хотите еще одну подробность? У меня страсть к спорту. Я держал большие пари в качестве гребца, пловца и ходока.

Теперь, после того, как я вам сделал столько признаний, господин грызун, расскажите мне о себе, о вашей жене, — ибо вы, конечно, женаты, — о ваших детях. Есть ли у вас дочь? Если — да, не забывайте меня, прошу вас.

Молю божественного Гомера просить за вас Бога, чтобы он даровал вам способность боготворить все прелести земной жизни.

Ги де-Мопассан.

Я через несколько дней переезжаю в Париж, 83, rue Dulong.

* * *

Злополучный золаист! Но это прямо восхитительно! Если бы небо было справедливым, вы были бы того-же мнения! Мне кажется, что это не только очень занимательно, но что здесь можно испытать самые тонкие радости, услышать поистине интересные вещи, если только быть абсолютно искренним. Ибо, в самом деле, наконец, с каким другом (мужчиной или женщиной) вы не найдете чего-нибудь такого, что приходится скрывать, или какую-нибудь предосторожность, которую приходится соблюсти? Между тем здесь вы имеете дело с абстрактным существом!

Не принадлежать ни к какой стране, ни к какому миру, быть всегда правдивым, тут можно бы дойти до широты выражения a la Шекспир…

Но довольно с нас подобной мистификации. Так как вы все знаете, я не стану ничего более скрывать от вас.

Да! милостивый государь, я имею честь состоять лицейской пешкой, как вы выражаетесь, и я вам докажу это восемью страницами моральных поучений… Слишком хитрый, чтобы приносить вам манускрипты, перевязанные бьющими в глаза бечевочками, я заставлю вас вкушать мои доктрины маленькими дозами…

Я воспользовался, милостивый государь, досугом святой недели, чтобы вновь перечитать полное собрание ваших произведений…

Вы, бесспорно, большой весельчак.

Я вас ни разу не прочел целиком и подряд. Впечатление поэтому отличается большой свежестью, и это впечатление…

Есть от чего всем лицеям перевернуться навзничь и всем монастырям христианского мира возмутиться духом!

Что касается меня, который нисколько не отличается особенной стыдливостью, я смущен — да, милостивый государь,

смущен тяготением вашей души к тому чувствованию, которое Дюма-сын называет любовью. Это может обратиться в мономанию, и об этом придется пожалеть, ибо вы богато одарены, и ваши рассказы из крестьянской жизни очень недурны.

Я знаю хорошо, что вы написали книгу «Une Vue» и что эта книга носит яркий отпечаток глубокого чувства отвращения к жизни, отпечаток грусти и придавленности. Это чувство, которое побуждает нас прощать вам многое другое, от времени до времени всплывает наружу в ваших произведениях и заставляет нас считать вас высшим существом, страдающим от жизни. Это именно и поразило мое сердце. Но эта печальная нотка, мне кажется, не более, как отражение Флобера.

В итоге мы с вами порядочные простофили, а вы еще к тому же ловкий шутник (видите, как иногда хорошо быть быть незнакомым друг с другом) с вашим одиночеством и вашими длинноволосыми существами…

Любовь — этим словом все еще хотят поймать на удочку весь мир. Жиль-Блаз, где ты?

По прочтении одной из ваших журнальных статей, я взялся за чтение Attaque du moulin. Мне показалось, что я вступаю в роскошный благоухающий лес, оглашаемый сладкозвучным пением птиц. «Никогда еще более глубокий мир не спускался с небес на более счастливый уголок природы». Эта магистральная фраза напоминает знаменитые несколько тактов последнего действия «Африканки».

Но вы ненавидите музыку — возможно ли? Вас бы следовало угостить ученой музыкой! И еще одно… ваше счастье, что ваша книга еще не готова, — книга, в которой будет фигурировать женщина, да, сударь, же-е-енщина, а не мускульные упражнения. Сколько бы раз вы на бегах не приходили первым, вы ничего иного не достигнете, как некоторого равенства с лошадью, а как бы ни было благородно это животное, оно все-таки остается животным, молодой человек.

Позвольте старому латинисту рекомендовать вам одно место из Саллюстия: Omnes homines qui sese student praestari, и т. д. и т. д. Я заставлю свою дочь Анастасию затвердить это место. Кто знает, может быть, вы и сойдетесь друг с другом…

Хорошие блюда, женщины?.. Но… мой юный друг, берегитесь! это становится похожим на шутку, а мое звание «лицейской пешки» запрещает мне следовать за вами по этому опасному пути.

Ни музыки, ни табаку? Черт возьми!

Миллэ хорош, но вы так выговариваете имя Миллэ, как буржуа имя Рафаэля.

Советую вам взглянуть на работы кисти молодого современного художника по имени Бастиен-Лепаж.

Сколько вам, в самом деле, лет?

Это вы серьезно утверждаете, что предпочитаете красивых женщин всем искусствам? Вы смеетесь надо мной!

Простите за бессвязность этого послания и не оставляйте меня долго без ответа.

А. затем, великий пожиратель женщин, желаю вам… и остаюсь со священным трепетом вашим преданным слугой

Савантен, Иосиф.

* * *

83, rue Dulong

Мой дорогой Иосиф, не правда ли, мораль вашего письма такова: так как мы совершенно не знаем друг друга, то не станем стесняться по отношению друг к другу и будем между собой свободно беседовать, как два приятеля.

Пусть так! я вам даже сейчас подам пример полной непринужденности. Мы дошли до той точки, когда с полным удобством можно перейти на «ты», не правда ли?

И так, я говорю тебе «ты», и если ты недоволен, то уж пеняй сам на себя!..

Обратись к Виктору Гюго, который назовет тебя: «дорогой поэт!» Знаешь ли — для учителя, которому вверены юные невинные питомцы, ты говоришь вещи, обнаруживающие достаточную закоренелость чувств. Как, ты не отличаешься чувством стыдливости? Ни в твоих чтениях, ни в писаниях, ни в речах, ни в действиях, а? Сомневаюсь в этом.

И ты полагаешь, что есть вещи, которые меня могут забавлять? И что я смеюсь над публикой? Мой бедный Иосиф, нет человека под небом, который бы скучал больше моего. Нет ничего такого, что в моих глазах стоило бы моего малейшего усилия или движения в его пользу. Я скучаю без перерыва, без отдыха и без надежды, ибо я ничего не желаю, ничего не жду. Что-же касается того, чтобы проливать слезы о том, чего я не в силах изменить, то я предпочитаю ждать, пока я не пресыщусь. И потому, так как мы откровенны друг с другом, я предупреждаю тебя, что с меня довольно.

Зачем я стал бы продолжать писать тебе? Это меня не забавляет, это мне не может доставить ничего приятного в будущем.

Итак у меня нет желания узнать тебя. Я уверен, что ты

безобразен, и к тому же я нахожу, что я тебе уже достаточно послал автографов, вроде настоящего. Знаешь ли ты, что цена каждому такому автографу от 10 до 20 су, смотря по содержанию? Ты по меньшей мере имеешь у себя два автографа по 20 су. Жадный торгаш!

Кроме того я почти уверен, что мне придется оставить Париж: я решительно скучаю здесь еще больше, чем всегда. Для перемены я думаю отправиться в Étretat, где надеюсь воспользоваться моментом одиночества.

Я в высшей степени люблю быть наедине с самим собой. Так, по крайней мере, скучаешь без необходимости говорить.

Ты спрашиваешь, сколько мне в действительности лет. Так как я родился 5 Августа 1850 г., то мне теперь еще нет полных 34 лет. Доволен ли ты? Не попросишь ли ты у меня теперь моей фотографии? Предупреждаю тебя, что я тебе никакой фотографии не пошлю.

Да, я люблю красивых женщин, но бывают дни, когда я питаю к ним глубокое отвращение.

Прощай, мой старый Иосиф, — наше знакомство, может быть, было слишком неполно, слишком коротко. Что-же делать? Может быть, лучше и не заглядывать в душу ближнего.

Дай мне твою руку, чтобы я мог ее сердечно пожать и послать тебе последний привет.

Ги де-Мопассан.

P. S. Ты теперь можешь давать серьезные указания людям, которые у тебя станут спрашивать обо мне. Благодаря тайне, я выдал себя.

Прощай, Иосиф!

* * *

Слишком уж остро пахнет ваше письмо! Вовсе уж не было надобности в такой силе аромата, чтобы заставить меня задохнуться. Так вот что вы нашли ответить женщине, которая если и провинилась, так разве только в неосторожности? Прекрасно!

Без сомнения, Иосиф во всех отношениях неправ: именно поэтому его так и терзают.

Но одно обстоятельство его вполне оправдывает: его голова оказалась заполненной легкомыслием… ваших книг, — точно напевом, от которого напрасно силишься избавиться.

Тем не менее я его строго порицаю, ибо нужно быть уверенным в любезности противника, прежде чем рискуешь

шутить таким образом.

Притом, мне кажется, вы могли-б унизить его с большей долей остроумия.

А теперь скажу вам одну невероятную вещь, которой вы, без сомнения, никогда не поверите, — и так как она всплывает на поверхность слишком поздно, то она имеет, если хотите, только исторический интерес.

Скажу вам, что и с меня довольно нашей переписки. После вашего пятого письма я охладела…

Пресыщение это, что ли?

Впрочем, я обыкновенно дорожу только тем, что от меня ускользает. Я, значит, должна была бы теперь дорожить вами? Да, почти.

Почему я вам писала? В одно прекрасное утро просыпаешься и открываешь, что ты редкое существо, окруженное глупцами. Горько становится на душе при мысли, что рассыпаешь столько жемчуга перед свиньями.

Что, если бы я написала человеку знаменитому, человеку достойному того, чтобы понять меня? Это было бы прелестно, романично, и, кто знает? — быть может, после нескольких писем он стал бы твоим другом, — да вдобавок еще покоренным при очень оригинальных условиях. И вот спрашиваешь себя: кому же писать? И выбор падает на вас.

Такого рода переписка возможна только при двух условиях. Первое условие это — поклонение, не знающее границ, со стороны лица, которое остается неизвестным. Безграничное поклонение порождает симпатию, заставляющую вас говорить такие вещи, которые неминуемо должны волновать и интересовать человека знаменитого.

Ни одного из этих двух условий нет налицо. Я вас избрала в надежде впоследствии поклоняться вам без границ. Ибо, как я себе представляла, вы должны быть относительно очень молоды.

И вот я вам написала, силясь охладить свой пыл, и кончила тем, что наговорила вам «непристойностей» и даже неучтивостей, полагая, что вы удостоите заметить это. Мы дошли до той точки, — употребляю ваше выражение, — когда я готова признаться, что ваше позорное письмо заставило меня провести очень скверный день.

Я так смята, точно мне нанесено физическое оскорбление. Это бессмысленно.

С удовольствием прощаюсь с вами.

Если у вас еще сохранились мои автографы, пошлите их мне. Что касается ваших, то я уже продала их в Америку за сумасшедшую цену.

* * *

Милостивая государыня! Я вас, стало быть, сильно задел? Не отпирайтесь! Я прямо в восхищении, и с поникшей головой прошу у вас прощения.

Я спрашивал себя: кто это? Она мне сначала написала письмо сентиментальное, мечтательное, экзальтированное. Это поза, свойственная всем девушкам: девушка ли она? Многие такие незнакомки оказывались девушками.

Тогда, сударыня, я и ответил в скептическом тоне. Вы понеслись быстрее моего, и ваше предпоследнее письмо содержало в себе странные вещи. Я уж совершенно не знал, что думать, какая, собственно, предо мной натура. Я все спрашивал себя: замаскированная ли это женщина, которая думает позабавиться, или же простая шутница?

Вам, быть, может, знакомо, средство, употребляемое с целью узнавать дам света на балу, в опере? Их щекочут. Девушки привыкли к этому и отвечают на это просто: «перестаньте». Другие сердятся. Я вас ущипнул весьма непристойным образом, сознаюсь в этом, и вы рассердились. Прошу у вас теперь прощения, тем более, что одна фраза вашего письма заставила меня почувствовать себя очень неприятно. Вы говорите, что мое «позорное» письмо (не слово «позорное» взволновало меня) заставило вас провести скверный день. Вы поймете, сударыня, те тонкие ощущения, которые заставили мое сердце сжаться от боли при мысли, что я испортил день женщине, которой я не знаю.

А теперь поверьте мне, сударыня, что я ни настолько груб, ни настолько скептичен, ни настолько непристоен, каким я вам мог показаться.

Но я, против воли, чувствую большое недоверие ко всякой тайне, ко всякой неизвестной и ко всем неизвестным.

Как вы хотите, чтобы я говорил искренние вещи какой-нибудь госпоже Х., которая мне пишет анонимно, которая, может быть, и враг мне (у меня есть враги) или-же просто насмешница. С людьми замаскированными я сам надеваю маску. Таков обычный порядок войны. И все-таки путем хитрости мне удалось увидеть маленький уголок вашей натуры.

Еще раз простите.

Целую незнакомую руку, которая пишет мне.

Ваши письма, сударыня, к вашим услугам, но я их отдам не иначе, как в ваши собственные руки. Ах! я готов для этого поехать, куда угодно.

Ги де-Мопассан.

* * *

Тем, что я еще раз пишу вам, я навсегда роняю себя в ваших глазах. Но я к этому глубоко равнодушна, а затем мне хочется вам отомстить. О, я только расскажу вам про эффект, произведенный вашей лукавой попыткой заглянуть в мою душу.

Я положительно страшилась получить ваше письмо, воображая себе самые фантастические вещи.

Этот человек должен был заключить свою переписку… не скажу чем, чтобы пощадить вашу скромность. И вскрывая письмо, я готовилась ко всему, чтобы не быть внезапно пораженной. Я была все-таки поражена, но приятно.

> Devant les doux accents d’un noble repentir
> Me faut-il done, Seigneur, cesser de vous hair[6].

И хоть бы это была какая-нибудь другая хитрость! А то, не угодно ли?

Польщенная тем, что меня приняли за светскую женщину, я стану позировать, как таковая, после того как вам хитростью удалось вырвать из моих рук человеческий документ, который вам угодно истолковать по своему! Скажите, как умно!

Итак потому именно, что я рассердилась? Это вряд ли решающее доказательство, милостивейший государь.

Как бы то ни было, прощайте! Я готова вам простить, если вам это валено, потому что я нездорова, и так как это со мной никогда не случается, то я чрезвычайно нежно настроена к себе самой, ко всему миру и к вам, нашедшему способ стать мне столь глубоко неприятным. Я тем менее стану это отрицать, что предоставляю вам думать об этом, как вам угодно.

Как вам доказать, что я ни любительница фарсов, ни ваш враг?

И для чего наконец?

Трудно было бы поклясться, что мы созданы для того, чтобы понять друг друга. Вы не стоите меня — жалею об этом. Не могло бы быть ничего более приятного для меня, как признать за вами превосходство во всех отношениях, — в вас ли или в ком-нибудь другом, — просто, для того только, чтобы иметь с кем обмолвиться словом. Ваша последняя статья была интересна, и я даже хотела бы, в качестве молодой девушки, предложить вам один вопрос. Но…

Между прочим, один маленький пустяк весьма деликатного

свойства заставил меня погрузиться в мечты. Вы были огорчены тем, что причинили мне страданье. Это или глупо, или очаровательно, скорее очаровательно… Вы можете смеяться надо мной, я смеюсь в таком случае над вами. Да, в вас зазвучала едва уловимая нотка романтизма a la Стендаль, говорю это совершенно простодушно, — но будьте спокойны: вы на этот раз еще не умрете от этого. Спокойной ночи!

Я понимаю ваше недоверие. Весьма вероятно, что какая-нибудь женщина comme il faut, молодая и красивая, забавляется тем, что пишет вам. Не так ли? Но, милостивый государь! Что-ж это?.. я, кажется, уже забыла, что между нами все кончено.

* * *

Милостивая государыня!

Я провел около двух недель на море, и потому не мог вам ответить раньше. Теперь я вернулся на несколько недель в Париж, прежде чем удалиться на лето.

Вы решительно недовольны, сударыня, и, чтобы вполне выразить мне свое раздражение, вы прямо заявляете мне, что я стою далеко ниже вас, что я вас недостоин.

О, сударыня, если бы вы меня знали, вы бы знали также, что я не предъявляю никаких претензий в смысле нравственной или художественной ценности. В глубине души я смеюсь над той и другой.

Все в жизни мне почти одинаково безразлично: мужчины, женщины и события. Вот вам мое истинное profession de foi. Прибавлю еще — чему вы не поверите, — что я не более дорожу самим собой, чем другими. Все в мире скука, фарс и жалость.

Вы говорите, что навсегда роняете себя в моих глазах тем, что пишете мне еще раз. Почему так? Вас осенила редкая мысль признаться мне, что вы оскорблены моим письмом, и сделали это в такой раздраженной, простой, свободной и восхитительной форме, что я был взволнован и тронут.

Я попросил у вас прощения, изложив вам свои резоны.

Вы мне еще раз ответили — очень мило, не бросая оружия, но вместе с тем обнаруживая чуть ли не чувство благосклонности, к которому все еще примешан гнев.

Что может быть более естественного?

О, я знаю, теперь я вам внушу большое недоверие. Тем хуже! Вы все-таки не хотите, чтобы мы свиделись? Если с кем-нибудь говоришь лицом к лицу пять минут, о нем узнаешь больше, нежели переписываясь с ним в течение десяти лет.

Каким образом могло случиться, что вы никого не знаете из тех людей, с которыми я встречаюсь? Ведь, когда я бываю в Париже, я провожу все вечера в обществе. Если вы мне скажете: пойдите в такой-то день в такой-то дом, я пойду. Если я вам покажусь чересчур неприятным, вы можете не открывать себя.

Но не стройте себе иллюзий насчет моей наружности.

Я ни красив, ни изящен, ни оригинален. Впрочем, это вам должно быть безразлично.

Бываете ли вы в обществе орлеанистов, или бонапартистов, или республиканцев?

Я вхож во все три.

Не хотите ли, чтобы я вас ждал в каком-нибудь музее, церкви или улице?

В последнем случае я поставил бы некоторые условия, чтоб быть уверенным, что не станешь ждать женщину, которая не думает явиться. Что вы сказали бы, если бы я вам предложил прийти в какой нибудь вечер в театр, не выдавая себя?

Я назвал бы вам номер ложи, где я находился-б со своими друзьями. Номера вашей ложи можете мне не называть. А на следующий день вы можете мне написать:

«Adieu, monsieur». Разве я не более великодушен, нежели французская стража в Фонтенуа?

Целую ваши руки, madame.

Ги де-Мопассан.

Дневник

1876 г.

Четверг, 13 июля 1876 г.

Я приняла Реми, одетая капуцином. Да, капуцином. Каролина, служащая у Лаферьер, сделала мне этот костюм полностью, до веревки и капюшона включительно.

Реми — мужчина! Я не могу к этому привыкнуть и обращаюсь с ним, как и шесть лет тому назад.

Вечером мы пошли к графине де М.

Мы уселись в маленькой угловой гостиной. Я разговаривала, читала стихи, пела, рассказывала все, что только возможно было рассказывать. Словом, если бы это случилось в большом обществе, меня бы высоко превознесли.

Эти дамы смеялись, удивлялись, восхищались. M-me де М. негодовала на то, что мы поселились в Ницце.

— Это жалкая дыра, — сказала она, — какой узкий горизонт! Как все здесь ничтожно! Тогда как в Париже с вашим состоянием и с такой дочерью…

— Но, madame, — сказала я, — иностранцам очень трудно попасть в парижское общество.

— Совсем нет! Если бы у вас там было всего только трое друзей, — один в финансовом мире, другой — в мире аристократическом и третий — в артистическом! Тогда у вас вырос бы салон на редкость. Кроме того, вы понимаете, mesdames, с этой девочкой, такой прекрасной и, особенно, такой образованной… ведь это встречается так редко — посмотрите на американок! Но такое образованное, такое остроумное дитя… Своей оригинальностью, своей увлекательностью, и с этим уменьем говорить… да, уверяю вас, к концу первого же года она сделается центром парижского общества. О, это несомненно! Вы очутились бы в самом центре Сен-Жерменского предместья… вы сделали бы блестящую партию!

— Ах, нет, — сказала я, откинувшись на спинку кушетки. — Это трудно, и к тому же я хочу сделаться певицей.

19 июля.

Сегодня M-me де М. спросила меня:

— Хотите пойти к M-me Моро? Я была у нее перед свадьбой моей дочери, и все, что она ей предсказала, действительно, сбылось.

— Это сомнамбула?

— Нет, это ученица M-lle Ленорман.

— Пойдемте.

Это очень веселая и полная женщина. Она решительно потребовала, чтобы я осталась с нею наедине, и это несколько обеспокоило моих дам. Она рассмотрела мою руку.

— Вы созданы, чтобы сделаться первоклассной артисткой, сказала она. Если вы будете петь, — вы добьетесь большой славы. Будете вы писать картины, — добьетесь не меньших успехов. Вы музыкантша. А как женщина, вы будете иметь успех чрезвычайный! Вы выйдете замуж по любви на девятнадцатом году — и за человека высокопоставленного. Вам семнадцать лет… вам предстоит большое путешествие. Через восемнадцать месяцев вас ждет большой артистический успех. (Восемнадцать месяцев… теперь июль… это легко будет проверить). У вас будет трое детей. Но — прибавила она — в этом году вы будете носить траур по какой-то пожилой особе… наверное… Впрочем, карты пророчат вам блестящую будущность.

Я дала ей конверт кардинала.

— Это старик, — сказала она, — вероятно, чиновник, — на службе у какого нибудь правительства. Да, неправда ли? Ну, так в недалеком будущем, через восемнадцать месяцев он добьется того высокого положения, к которому стремится. Это… но этот человек дурно думает о вас.

Я дала ей другой конверт. Она пощупала его рукой, как раньше конверт кардинала.

— Этот молод, — сказала она. — Вы думаете о браке, и карты говорят, что этот брак возможен. Он скоро совершится, в конце будущей зимы. Но брак этот встретит затруднения, — у вас будут неприятности. Вы выйдете замуж за этого человека только после траура по пожилой особе, а он женится на вас после траура по какой-то женщине, не раньше. Вам скоро будет предлагать свою руку господин 28 лет, брюнет, с черной бородой. Вы выйдете замуж за человека высокопоставленного, но ваша жизнь — жизнь артистки. Как женщина и как артистка, вы будете иметь огромный успех через восемнадцать месяцев. Вы добьетесь его и раньше, но настоящий, *полный* успех придет через восемнадцать месяцев…

Это легко будет проверить.

— А характер этого человека, madame?

— Он? Он *мрачен*, *тщеславен*, но он вас любит.

Я вышла ошеломленная. Как только я очутилась в карете, я стала рассказывать об этом странном предсказании, так сходном с двумя прежними.

Возможно ли, чтобы все трое только случайно предсказывали одно и то же! Француженки вернулись домой. Мы с тетей поехали в лес. В присутствии дам я шутила, позировала и хвастливо

говорила: «Все равно, mesdames, я не в ладах с великим кардиналом, и к тому же предмет нашей ссоры — политика»!

Все это я говорила при них… Но оставшись одна с тетей, я не говорила больше ни слова. Я с ужасом смотрела на предстоящее путешествие. Вражда кардинала, любовь Пьетро…

Мне казалось, что я люблю его, что я скажу ему столько нежных слов… Я почти плакала от невозможности сделать это сейчас же…

Я была огорчена, но все же меня занимала и доставляла удовольствие мысль, что я занята такими серьезными делами…

Мои француженки были вечером у нас. Снова говорили о Монгрюэле, об ясновидящем Алексее, о Моро.

Я не верю. И все же это чрезвычайно странно…

Среда, 19 июля.

Из-за этого несносного Пьера я забыла самую интересную часть предсказания модного ясновидящего Алексея, к которому я вчера ездила. Я расспрашивала его, конечно, о том, что меня больше всего занимает. Наш разговор заслуживает особого внимания. Еще не называя кардинала, он мне сказал:

— Я уже вам говорил, что нужно очень и очень многое для того, чтобы его избрали папой… есть еще один кандидат, ему покровительствует… итальянский король. О, этот итальянец силен, сильнее его… он непременно сделается папой, разве уж произойдет *что-либо необычное* или же он сам откажется. Француз стушевывается… О, я вижу, — только они вдвоем являются серьезными претендентами на папский престол. Наименование шансов на успех имеет тот, чья карточка у меня в руках. О, да, итальянский король не хочет, чтобы его выбрали. Мне даже кажется, что это его враг… Король выдвигает другого…

Тут я потребовала, чтобы Алексей попытался узнать имя этого человека. Ведь, наверное, вокруг этого имени найдется что-нибудь такое, что поможет ему отгадать его. И он, действительно, назвал его. Мне это кажется вполне естественным, потому что все, что он прозревал вокруг этого человека, навело его на мысль об его имени.

Все сегодняшнее утро я только о том и думала, чтобы снова побывать у него. В 2 часа дня мы поехали к нему вдвоем, только с тетей. Сначала я обратилась к нему с вопросами о своем здоровье. Алексей отлично объяснил мою болезнь, — ту боль в горле, о которой я говорила, доктору Валицкому. Я взяла у врача, усыпившего его, рецепт, попросив его оставить нас наедине.

Тетю я тоже заставила выйти, и мы с Алексеем остались в комнате вдвоем.

— Я снова здесь, — сказала я, взяв его за руку. — Вчера мне помешали внимательно вас выслушать.

— Ах, да, улыбнулся он, — вас вчера порядком подразнили.

— Не сможете ли вы мне сказать, что делала с прошлого понедельника та особа, о которой мы с вами говорили?

— Хорошо, скажу вам, только дайте мне то же письмо, что и вчера…

— Извольте!..

Лицо Алексея приняло странное и страшное выражение, которое делало его похожим на выходца с того света. Взоры его как будто проникали далеко, далеко — за пределы этого мира.

— Позвольте… Жизнь этого молодого человека чрезвычайно сложна. Он разбрасывается во все стороны… он хватается за все. Я сказал бы, что он ведет какое-то двойное существование.

— Как так, двойное существование?

— День он проводит среди священников и монахов, а ночь — среди светских людей. Сам он не священник.

— Что он делает во вторник и в среду?

— Судя по его простому серому костюму, он, несомненно, ездил за город. Он в Риме.

— Получил ли он письма?

— О, да, он получил много писем и, между прочим, одно от вас.

— Каково же содержание этого письма?

— Вы пишете ему о какой то перемене места, требуете его приезда сюда. Но он не может этого сделать, его семья удерживает его от этого… Кроме того его останавливает еще много других препятствий. Не будь этого — он давно был бы здесь… Но я вижу, он скоро приедет во Францию… Погодите… Это письмо подписано… Странно, это не фамилия… Это не полное имя… Погодите… Мне трудно разглядеть, я утомляюсь, это…

— Что?

— Это… Здесь два слова… нет, только одно и за ним следует имя, не вполне законченное, очень короткое… Тут только две буквы. О, да! Наверное!..

Неправда ли, какое странное ясновидение!..

— Прочтите письмо.

— Я не могу… Вы требуете от меня почти невозможного.

— Скажите же, когда и где получилось это письмо?

— Оно прибыло не по почте и побывало у двух лиц прежде, чем дошло по назначению… Я вижу, оно получилось в богатом доме, похожем на дворец… на папский дворец, — это должно быть Ватикан…

— Смотрите, не ошибайтесь.

— Я плохо вижу сегодня, вы утомляете меня. Бывают у меня хорошие, счастливые минуты, когда все само собою предстает предо мною ярко, и тогда я могу говорить… Но вы вынуждаете меня разбрасываться… Вы думаете сразу о слишком многих вещах…

— Ну, пожалуйста, я постараюсь быть спокойной. Глядите!

— Я ведь говорю вам, это дворец. Я вижу знамя… я вижу военных у дверей…

— Много их?

— Да, много.

— Случайно они там очутились?..

— Двое из них находятся там всегда другие зашли только мимоходом.

— Что же делается в самом дворце?

— Там много молодых людей…

Он, вероятно, видит клуб.

— Как они одеты?

— Позвольте… На них одежда духовных лиц… Да, так мне кажется…

— Этого не может быть. Смотрите лучше.

— Повторяю вам, что это трудно. Мне уже давно следовало бы отдохнуть; вы утомляете меня… Помимо того…

— Посмотрите еще, кто получил это письмо? — спросила я.

Я уже поняла, что он видит телеграфную станцию в Риме, но не могла понять, при чем тут духовные лица.

— Это письмо получила женщина. Она отдала его какому-то мужчине. А тот уже передал письмо ему.

— Так он его значит получил?

— О, да, наверное.

— Что же он сделал?

— Он в ту же минуту вышел… Его смутило содержание вашего письма; вы делаете намеки… только намеки на этот брак…

— Где он в данную минуту? Видите вы его?

— Я вижу, он в комнате… И не один.

— Скажите, что он делал два-три дня тому назад?

— Я ведь вам сказал: он был с матерью у кардинала.

— Хорошо. Посмотрите же теперь, — что он делает?

— Он сидит в комнате с молодым человеком лет девятнадцати-двадцати. Это юноша со светлыми, очень коротко остриженными волосами. Они говорят по итальянски.

— Мое письмо у него?

— Да, у него, здесь! — И он указал на левый карман своего

сюртука.

— И он не думает приехать сюда?

— Напротив, он хочет это сделать, но не может. Будь у него возможность, он был бы уже здесь.

— Где он?

— Странно… Он в монастыре, да, в монастыре.

— Что это за монастырь?

— Он находится подле… постойте… подле каких-то сводов. Какие они великолепные!..

— Это развалины?

— О, нет, это цельные большие своды, и там много…

— Чего?..

— Там много статуй… и…

Я узнала сен-тьерские своды и статуи. А я думала, что ясновидящий увидит Колизей.

— И?.. Кончайте же, — сказала я.

— И гробниц, — сказал он с таким видом, как будто все ближе и ближе всматривался в них. — Там древние гробницы, развалины… Куски мрамора… и еще статуи… Все это удивительно красиво и великолепно!.. Удивительно…

Он, очевидно, видел Ватикан.

— Как одеты монахи этого монастыря?

— На них белая одежда.

— И только?

— На груди красный крест и чьи-то инициалы.

— Чьи?

— Я не знаю.

— Нет, вы знаете.

— Ах, это нехорошо… мы поступаем очень дурно!..

И, несмотря на все мои просьбы, он ничего больше не хотел сказать. Я расспрашивала его еще о многом, но каждый раз он повторял то же, что и вчера.

— Он богат? — спросила я, наконец.

— Конечно, это всем известно. Он даже гораздо богаче, чем предполагают.

— В чем заключаются его богатства?

— Погодите… У него много драгоценностей. С ним всегда маленький ящичек, полный бриллиантов. Там их на несколько миллионов. В этом его главное богатство.

— А деньги?..

— Он не держит у себя денег.

— Ну, что вы! Если их нет при нем, поищите их в другом месте.

— Он самый молодой в этом монастыре. Тем не менее все

относятся к нему с большим уважением. Как странно — он не монах и все же находится в монастыре!

Несчастный Пьетро! Так он теперь у доминиканцев! Но, как бы там ни было, а раз он получил мою телеграмму, он должен был мне ответить. Это ужасно!

О чем он думает?

— Все его думы сосредоточены на браке с вами. Но он хорошо видит, что для этого придется бороться со множеством препятствий. Это будет страшно трудно!.. Тут такая масса препятствий и со стороны национальности, религии…

Я попросила тетю войти и начала расспрашивать о кардинале.

— Это Антонелли, — сказал Алексей.

— Взгляните же, что он делает теперь.

— Я вижу он сидит у стола. Направо от него сидит его секретарь… Они оба заняты.

— Чем?

— Мы поступаем очень дурно. Кардинал был бы недоволен, если бы узнал о том, что мы тут делаем.

— Вы хорошо знаете, что у меня нет дурных намерений.

— Но тут слишком много любопытства. Это дурно… Очень дурно.

— Ну, если бы к вам пришел кардинал, он был бы еще любопытнее меня. Ну, пожалуйста, продолжайте.

— Он вечно занят мыслями о крупных деньгах, которые он отдал куда-то… поместил куда-то… У себя он держит очень мало денег…

— Куда же он поместил свои деньги?

— Ну, нет, этого я вам не скажу. Такие вещи нас не касаются.

— Но я хочу это знать, говорите!

— Его денег нет в Риме. Они в Брюсселе… Большая часть их в Брюсселе.

Это меня удивило. Все говорили, что кардинал хранил свои деньги в Англии.

— А кроме того?

— В Вене, в Австрии.

— Сколько?

— Я не вижу, но их там больше, чем предполагают.

Я настойчиво требовала, чтобы он назвал точную цифру его денег, но он не хотел.

— Завещание он составил?

— Да, восемь лет тому назад.

Пьер говорил мне об этом. Он сказал мне также, что с тех пор кардинал сильно изменил это завещание?

— Что же написано в этом завещании?

— Вы задаете мне нехорошие, непозволительные вопросы.

— Я пришла сюда с целью непременно узнать все это. Говорите!

— Я должен вам прежде всего сказать, что он сильно изменил завещание за эти восемь лет… Да, очень сильно…

— Но вы все таки видите, что он рассчитывает сделать со своим состоянием? Как он его распределил?

— У кардинала ум глубокий и слишком скрытный, даже для меня. Я теряюсь… Я не могу точно определить… Да и нехорошо с нашей стороны насильно вторгаться в его тайны. Ведь вы отлично знаете, что он был бы очень недоволен, если бы знал, что мы тут делаем.

— Понятно. — Тем не менее я продолжала настаивать до тех пор, пока он наконец сказал:

— Я скажу вам только, что его состояние разделено… Постойте… Оно разделено на четыре части… да, так, на четыре части… Две части крупные, другие две далеко меньше…

Он не хотел мне сказать, для кого предназначались первые. Ему очевидно, ясно было, что они предназначались не для Пьера. Что касается деления на четыре части, о котором он говорил, то это возможно, так как у кардинала четыре наследника: Августино, Доменико, Паоло и Пьетро.

С большим трудом удалось мне заставить его говорить. Он все твердил, что мы поступаем дурно, что мы не имеем права вмешиваться в такие интимные дела. Я все-таки заставила его сказать мне:

— Самую значительную долю состояния кардинала получит его племянница. Много денег получит от него еще графиня?..

Не ошибайтесь только, дорогие читатели: Алексей отгадывает не будущее, а завещание и мысли кардинала. Каждый раз он повторял, что не может видеть того, чего я от него добиваюсь, что это дурно, что я утомляю его и что он больше не в силах говорить.

— Я не Бог, твердил он.

Тут я оставила его, и мы поехали к другой ясновидящей, madame Абель. Живет она по улице Жан-Жак Руссо, № 61. Никогда в жизни я не видела более ужасных, грязных квартир. Мы проходили через столярные и кузнечные мастерские, пробирались по разным дворам и лестницам. Наконец, мы очутились в комнате, где две женщины заливались каким-то блаженным смехом юродивых; тут же сидел какой-то мрачный старик в черной бархатной шапочке.

Моим первым ощущением при виде их было ощущение

страха: мне казалось, что меня убьют. Я даже подумывала о том, чтобы позвать на помощь столяра и кузнецов.

Когда мнимую ясновидящую загипнотизировали, я дала ей портрет.

Она спросила меня, где именно происходит действие, где живут эти люди:

— Но ведь мысленно я вас туда и направлю!

— Нет, нет, вы должны назвать местность, и тогда я сейчас же буду там… Я всегда так делаю…

— Ну, попытайтесь все-таки!

— Я на севере.

— Из чего вы это заключаете?

— Я чувствую это по воздуху той местности. Я вижу юношу… у него каштановые волосы…

Словом, она сказала мне, что кардинал любил меня, что теперь он меня больше не любит, что у него недавно было воспаление легких и что сейчас он находится взаперти.

— Где?

— Позвольте… Это не больница, это большой дом.

«Хорошо», подумала я: «теперь пойдет лучше».

— Это… — продолжала женщина, — это… нечто вроде дома умалишенных.

Господи! Это Ватикан-то дом умалишенных!

— Скажите мне, что он делал в понедельник? — спросила я, смеясь. Алексей видел его в понедельник на собрании.

— В понедельник? Ага, в понедельник вечером ему удалось бежать! Но… его снова запрятали.

Бедный кардинал! Сумасшедший дом после такой блестящей карьеры!

С нас взяли 20 франков за этот прекрасный сеанс. Я не посмела возражать: я была счастлива, что выбралась оттуда живой и невредимой.

Мама прислала мне письмо от Л. и говорит, что считает его одним из моих наиболее преданных поклонников. Он жил в Ницце и бывал в тамошнем обществе. Несмотря на свою толщину, он остроумен и любит посплетничать. И если бы о нас, действительно, злословили, как я это предполагала, то он не был бы так любезен со мною теперь.

Помимо своей воли, стараясь найти извинение для Антонелли, я считала положение более серьезным, чем оно было на самом деле. Теперь я положу этому конец. Довольно снисходительности, довольно мягкости! Я не желаю брать на себя все ошибки. Я слишком долго носила повязку на глазах! Он не достаточно сильно любит меня. Впрочем, уже с самого начала его

поведение говорило против него. Мне больше нечего сказать — разве только то, что я устала от этого вечно напряженного состояния. Меня уже утомили эти постоянные старания оправдывать его. А между тем его поведение всегда было странным, редко приличным, а часто даже оскорбительным! Я боялась, что мне трудно будет пережить эту низость, о которой знают все мои домашние, знает и тетя. Но я держу себя просто. Я говорю правду. Я говорю только то, что думаю, и нет тут никакой тягостной неловкости и натянутости. Я не прихожу в бешенство, потому что вообще хладнокровно смотрю на вещи.

Глубоко сожалею, что мои губы были осквернены его прикосновением. Бедные мои губы! Я снова утверждаю и буду постоянно утверждать то, что говорила на этот счет, когда в первый раз уезжала из Рима.

Если бы он даже вернулся ко мне теперь, я с презрением оттолкнула бы его.

Мое терпение истощилось. Я имею право не прощать больше. Я не хочу, чтобы со мною играли в любовь.

Не думайте, пожалуйста, что это слова ясновидящего перевернули вверх дном все мои мысли. Я и без всяких ясновидящих отлично знаю, что он получил мою телеграмму. Да разве мог он не получить ее? Ведь уже целая неделя прошла с тех пор. Он получил ее, иначе быть не может!

Он не ответил. Впрочем, этого можно было ожидать — даже смешно было думать иначе. Разве с самого же начала трудно было предвидеть все это? Так вот она, какова любовь! Так вот как он явился бы мне на помощь, если бы я нуждалась в ней! Недурное доказательство «страсти», как он осмеливался называть свое чувство!

Допускаю, что он находился под моим влиянием, когда мы были вместе. И если бы он был племянником папы, я сумела бы воспользоваться этим влиянием, да и всякого рода влиянием, — я не пренебрегла бы тогда ничем, чтобы овладеть им.

Но для такого ничтожного господина я сделала и без того слишком много. Я забыла свою роль королевы и свое женское достоинство.

Итак, Пьер Антонелли, пеняй на себя.

Прощай.

25 ноября 1876 г.

Мне сказали, что этот господин Л. ищет богатую и умную жену, которая сумела бы создать необходимый для него политический салон.

По отношению ко мне, такая претензии показалась мне

смешной, и я ответила, что у меня нет никакого желания выходить замуж. Баронесса тем не менее продолжала настаивать на всех прелестях такой партии.

— Во всяком случае, сказала она, уверяю вас, следовало бы познакомиться с ними.

— Познакомиться? Что-ж? Я ничего не имею против.

— Это друзья Кассаньяка, ярые бонапартисты. Вы ведь любите эти конспирации, политику…

Сегодняшнее утро вознаградило меня за мое горе. Мама разбудила меня и вручила мне записку от madame M. Она приглашает нас сегодня на завтрак и посылает мне записку от Кассаньяка.

Милая, славная женщина!

Отец мой собирался было ночью уехать, но раздумал, когда получил приглашение… В парадном сюртуке, с петлицей пожалованного ему ордена он с чарующей покорностью отправился со мной в 4-ый этаж улицы Сент-Онорэ, 420.

На лестнице мы столкнулись с верным Бланом. Почему его называют верным?

Не знаю, но мне кажется, это прилагательное вполне подходит к нему.

Верный Блан снял с меня шубу и шляпу. Мы вместе вошли в гостиную.

Мой милый Кассаньяк был уже там. Он занял своей особой добрую половину гостиной. Начались представления. Мой отец держал себя премило; как и все русские, он в восторге от Кассаньяка.

Нас угостили таким роскошном завтраком, какого я совершенно не ожидала.

Я сидела между Кассаньяком и Бланом. Беседовала я главным образом с Бланом, хотя горела желанием побеседовать с Кассаньяком. Но вид у него был до того важный, что я боялась показаться дерзкой и навязчивой и разыгрывала роль Виргинии.

Кассаньяк знает, что мама была в Париже два месяца тому назад. Заговорили как-то о фотографиях, и тогда он обратился ко мне:

— Я приготовил одну карточку для вас, но не посмел предложить ее вам, не испросив предварительно разрешения у вашей матушки.

— Господи, как строго господин де-Кассаньяк соблюдает приличия, — произнес Блан своим насмешливым тоном.

— Это вас, кажется, удивляет? — спросила я.

Заметив, что я ела только виноград, он беспрерывно накладывал мне его на тарелку. Я опрокинула свой бокал,

который увлек за собой и стоявший тут стакан.

Суббота, 26 ноября 1876 г.

Сегодня мы ездили в Версаль. По дороге туда в наш вагон вошел какой-то господин с орденом в петлице. Это был еще довольно молодой француз, видимо галантный и любезный, — француз par exellence. Однако, он произвел на меня такое впечатление, какое производят многие французы этого типа. Судя по внешним их приемам, они добры, но в глубине их души таится грубость и злость, они тщеславны и завистливы, остроумны и ограничены. Когда он вошел в вагон, баронесса обратилась ко мне:

— Позвольте, дорогое дитя, представить вам г. Л. — главу своей партии и, следовательно, вашего друга.

Я поклонилась, а баронесса продолжала знакомить между собою остальных.

— Есть еще место в вагоне? — вдруг раздался снаружи неприятный, резкий голос.

— А, это мой сын, — сказал г. Л. — Да, место есть, войди.

Представили нам и сына, который оказался поразительно похожим на отца. Это был молодой человек, сильный брюнет, что называется, кровь с молоком. Ему можно было дать лет 27–28. Он носил эспаньолку и усы.

Пока нас знакомили, г. Л.-отец переводил свои взоры с Дины на меня, желая угадать, которая из нас она. Я не хотела помочь ему в этом, так как и отец, и сын не понравились мне с первого же взгляда.

Молодой депутат начал говорить со мною о политике. В ответ на одну из его фраз я произнесла:

— Это мне говорил вчера г. де-Кассаньяк.

— Вы видели Поля де-Кассаньяка?

— Да.

— А… где же?

— У нас.

— У вас? Слышишь, папа, Поль де-Кассаньяк имел честь быть представленным вчера госпоже Башкирцевой!

Он почти прокричал эти слова, как бы сердясь и желая спросить, зачем его впутали в эту историю, раз сам Поль де-Кассаньяк…

— О, нет, холодно ответила я — мы познакомились не вчера, а четыре месяца тому назад.

Я присутствовала на заседании палаты депутатов. Обсуждали вопрос о церковном бюджете. Я кое-что помнила из газетных сообщений и теперь, внимательно слушая, я быстро очутилась в

курсе дела.

Г. Л.-отец подходил к нам два раза во время заседания и указал нам всех знаменитостей, находившихся в зале. Одни сидели, сжав колени руками, и вся их поза как бы говорила, что они уж окончательно устали. Другие закрывали лицо руками или делали неопределенные жесты, которые, быть может, означали: остановитесь, будет уж!..

На скамьях левого и правого *центра* крайняя пестрота. На скамьях правой сидят все люди красивые, хорошо сложенные, хорошо одетые. Вид у них важный и манеры отменные. Все они стоят за Бога и за короля. На крайней правой — почти такие же: все люди *моего* лагеря.

Все эти партии просто приводят меня в отчаяние!..

Не будем притворяться на счет этой встречи с г. Л.

Это настоящие смотрины, и меня ужаснул цинизм отца.

Он наклонился к madame де М. и долго шептал ей что-то на ухо, словно меня там вовсе не было. Между прочим он сказал также:

— Я уверен, что она нравится моему сыну. Нужно только узнать ее мнение о нем.

Кровь бросилась мне в лицо, и у меня было мелькнула уже мысль повернуться в его сторону и измерить его таким взглядом, который тотчас же выяснил бы ему мои мысли на этот счет. Но я сдержалась и стала рассматривать в лорнет графа де-Мэна, легимиста, — красивого и очень симпатичного человека. Это честный и глубоко религиозный человек.

В общем заседание прошло очень спокойно.

Когда мы вышли, дождь все еще лил. Не хотелось искать кареты, и мы выехали в омнибусе. Чувствовалась натянутость и крайняя неловкость.

Серьезные причины задержали сына в палате. Отец поехал с нами и вел себя, как мальчишка. Он только и делал, что болтал о женских фигурках, об икрах, о ножках.

Эти господа думают, что я увлекаюсь Кассаньяком. Поэтому они не находят ничего лучшего, как злословить о нем в моем присутствии.

Кассаньяк сказал правду; его не было вчера в палате, а сегодня он уехал вечером.

Результатом этого заседания для меня было… еще большее обожание Рима…

Воскресенье, 27 ноября 1876 г.

Сегодня утром графиня передала мне, что молодой Л. приходил к ней вчера в 11 часов вечера. Он сказал ей, что

влюблен в меня, что она, графиня, сделала его несчастным, дав ему возможность увидеть меня.

Я рассказала, что получила приглашение от баронессы и попросила у нее совета, должна ли я принять это приглашение, зная, что встречусь там с г. Л.

— Поймите, прибавила я, — что мне тяжело сознавать все то, что вы только что сообщили мне. Неразделенная любовь создает только врагов. Я совсем не хочу, чтобы в меня влюблялись. Я, с своей стороны, могу предложить только свою искреннюю дружбу.

— Все это прекрасно, дорогая моя, ответила графиня. — Но я советую вам не пренебрегать такими знакомствами… Они дадут вам много связей всякого рода, и кто знает?.. Может быть, сегодня, на вечере у баронессы, вы зароните семя, а возвратясь в Париж, увидите уже выросшее дерево. Этот молодой человек представляет блестящую партию даже для вас. Во всяком случае и положение, и связи Л. таковы, что пренебрегать знакомством с ними, повторяю, не следует.

— Вы правы. В таком случае я пойду к баронессе, но в этом же платье и шляпе.

Все прошло спокойно и с неподражаемым величием.

Гостиная была ярко освещена. Баронесса, в своем роскошном туалете, со своим прекрасным, молодым лицом, обрамленным белыми волосами, походила на портрет какого-нибудь старинного мастера. Барон позировал, как всегда, и держал себя так, как будто у него 100.000 франков годового дохода.

Бедный человек! Он никак не может свыкнуться с мыслью о своей бедности. Он сохранил свой важный вид и привычки прежнего времени, когда он еще был окружен роскошью.

В девять часов вечера в гостиную вошел молодой Л. Он медленно поцеловал руку сначала у баронессы, затем у ее сестры и у графини В.

Все эти напудренные головы и платья со шлейфами казались привидениями прошлого века. Скоро принесли стол, и некоторые из гостей уселись за вист. Все вокруг торжественно смолкло.

Со вчерашнего дня мне все кажется, что я играю какую-то комедию.

Поймите, ведь это выходят официальные смотрины!..

Я наблюдала весь вечер за Л. К сожалению, мои наблюдения ни в чем не изменили моего первого впечатления. Говорю «к сожалению», во первых потому, что именно его положение в свете вполне соответствовало бы моим желаниям, а во вторых, потому, что я, с своей стороны, вполне отвечала бы его желаниям.

Но антипатии, как и симпатии, не зависят от нас. Мы не властны в наших чувствах.

Я беседовала спокойно и сдержанно, умно и грациозно. Это, однако, не мешало им в то же время восторгаться моим энергичным, решительным видом.

«Она не повышает голоса», говорили они, «не меняет ни позы, ни жестов, даже тогда, когда ей приходится высказывать самые серьезные и самые необыкновенные суждения».

Без малейшего видимого усилия я успела показать, что много читала и занималась. Заговорили о браке. Молодой Л. стал излагать довольно странные теории…

— Влюбляться можно, сколько угодно, но жениться… Я, например, женюсь только на девушке, у которой будет хорошее состояние. Само собою разумеется, она обязательно должна быть хороша собой и умна, должна мне понравиться. Но состояние безусловно необходимо. Не могу же я, один из самых видных представителей своей страны, жениться на бедной девушке: Это было бы прямо святотатством.

Согласитесь, что это уж слишком сильно сказано. Баронесса обменялась со мною взглядом и сухо произнесла:

— Всем иностранкам это хорошо известно, поэтому-то они и составили себе очень дурное мнение о французах. Они убеждены, что французы женятся исключительно ради денег.

…Я сказала ему то же самое не далее, как вчера. Оказывается, мое предположение вполне подтвердилось. Это казалось мне чрезвычайно странным, а между тем, ведь так оно, в сущности, и должно быть. Мне дают имя, положение, блестящие связи с самыми видными фамилиями Франции и не менее блестящую карьеру. В обмен за это от меня требуют ума и денег. Такая коммерческая сделка вполне в порядке вещей. И не будь этот человек так антипатичен мне, я согласилась бы на такую сделку. Если бы дело шло только о его наружности, еще можно было бы столковаться. Но мне внушает отвращение его сухой, грубый, корыстолюбивый характер. Меня отталкивает его упорство и честолюбие, прикрытое тройным слоем светского лоска.

Да, он принадлежит к категории людей, у которых только и имеется один внешний лоск. Несмотря на изысканность и любезность, несмотря на милое и мягкое обращение, он должен быть человеком черствым, неприятным и злым.

Речь зашла о ясновидящем Алексее. Я как-то вскользь заметила:

— Он предсказал мне, что я никогда не буду счастлива.

— Это потому, — сказал де-Л., — что когда счастье явится к вам, вы оттолкнете его с тем же самым беспечным и спокойным видом, который мне в вас уже знаком.

Он сказал мне в тот вечер еще многое другое и делал при

этом довольно прозрачные намеки: он знал, что я предупреждена о его намерениях. Так, когда я сказала, что не люблю республиканской Франции и хочу уехать отсюда, он ответил:

— В таком случае, вам следует, наоборот, оставаться здесь, чтобы изгнать из Франции эту республику.

— Что же я могла бы сделать? Конечно, я употребила бы все свои силы, если бы могла оказаться полезной, но…

— Вы могли бы многое сделать. Но для этого необходимо одно условие.

— Какое? Что именно?

— Этого я вам не скажу.

Надо было слышать, как он произнес эту фразу! А тон, ведь, делает музыку!

Когда в сотый раз заговорили о моем «твердом характере», я почувствовала порядочную досаду. Не желая выдать себя взглядом или жестом, я произнесла спокойно и настолько громко, чтобы все слышали:

— Мне кажется, что нельзя честно прожить свою жизнь без некоторой доли твердости характера.

Эти слова произвели такое впечатление, словно все кресла, где сидели гости, оказались внезапно утыканными булавками.

— О, как это справедливо! — раздалось со всех сторон.

— Вы романтик? — спросил Л.

— Что вы понимаете под этим? Ведь есть тысяча видов романтизма.

— В присутствии такого ума приходится признать себя наперед побежденным, — лицемерно, а, быть может, и искренно сказал молодой человек.

Затем последовали восклицания вроде: неслыханно! чудесно! и т. д. и т. д.

Глупцы! Они думают, что имеют дело с богатой «иностранкой», тщеславной, упрямой, которой легко вскружить голову… Они напали на Кассаньяка, называя его прекрасным, несравненным Паоло. Да, Паоло — страшилище черни, — человек, всегда имеющий при себе кастет и пистолеты. В его отеле, действительно, устроено такое зеркало, с помощью которого он видит всех, кто приходит к нему, устроена и акустическая труба, в которую он дает вам знать, что его нет дома.

А вы, жалкие кретины, как смеете вы сравнивать себя с ним? Как смеете вы выставлять его в смешном виде, притворяясь, будто поете ему дифирамбы?

Он честен, благороден и храбр — этот Паоло. Его называют машиной, которою двигает тщеславие! Да, если бы вы хоть

немного уважали его, вы не выбивались бы так из сил, чтобы умалять его достоинства!

Молодой вылощенный Л. как-то сказал, что сестра его вышла замуж в шестнадцать лет.

Я удивилась, сделала жест удивления и отвращения.

— Так рано!.. Я выйду замуж не раньше, чем мне минет 25 лет.

Вообще я так много говорила в этом духе, что молодой человек стал, наконец, распространяться о бабочках, которые обжигают себе крылышки, о предосторожностях, которые необходимо предпринимать и т. д. и т. д.

Так вот как, господин француз! вы полагали, что имеете дело с экстравагантной девицей и — скажем прямо — богатой *иностранкой*! Но какого же вы мнения об иностранках? Ну, да это все равно. Что и говорить! Они, действительно, заслуживают, чтобы о них так думали. Но я не подхожу под общее правило. Я не русская, не иностранка, — я принадлежу, я равняюсь только себе самой. Я — то, чем должна быть женщина с моим честолюбием… и теперь наступила минута удовлетворить его… Так подождем же немного!

Мама была уже в постели, когда я вернулась. Я присела к ней на кровать. Вдруг у меня мелькнула мысль, которая заставила меня вскочить.

— Мне кажется, что г. де-Л. делает мне предложение — и довольно прозрачно?

— Да, конечно…

— Ему 27–28 лет, у него черная борода.

— Ну, так что-же?

— А вспомните-ка предсказание Моро. Четыре месяца тому назад она сказала: «В скором времени вам сделает предложение человек 27–28 лет, с черной бородой». Что вы на это скажете?

С этой минуты я опять ожила. Ах, если бы исполнилась только половина того, что она мне предсказывала!..

Она так настойчиво обещала мне всего, чего только можно желать!..

Понедельник, 28 ноября 1876 г.

Я ненавижу Париж. Может быть эта ненависть и исчезла бы со временем, если бы не эти парижские «courses» по магазинам…

В половине восьмого я поехала на обед к Бойдам. Вчера Берта пригласила меня.

Они в первый раз видели меня близко. За то же и получила я целую кучу комплиментов — и вполне заслуженных… Превозносили все — и талию, и руки, и волосы… Берта только и

говорит, что о дочери княгини Лизы Трубецкой, салон которой хорошо известен в Париже. Давно уже я не встречала таких веселых, милых и простых людей. Этот вечер освежил мой ум. Я возвратилась в наш «великолепный бельэтаж Grand-Hotel'я» успокоенная и в лучшем расположении духа.

Мне принесли список депутатов при фамилии каждого из них была приложена краткая характеристика. Вот несколько силуэтов оттуда.

Об отце Л. отзываются с уважением и почтением. Ему отдают справедливость за все благодеяния, которые он оказывает своему департаменту. О сыне его сказано:

«Двадцати восьми лет, Сегре (департамент Мен и Луары), 7313 голосов. Генеральный советник, холост. Говорят, от выбора его в палату зависит успех его притязаний на одну очень богатую девушку… Непримиримый бонапартист, опирающийся на демократию, словом — сын своего отца. Лицо его похоже на лицо младенца-семинариста, которому нацепили усы и лорнет. Всегда носит под мышкой министерскую салфетку… Никогда не расстается с нею… Проходит ученический искус».

Вот силуэт Гранье де-Кассаньяка:

«Внимание! Это настоящий коллега и ученый в высшем значении этого слова. Гранье де-Кассаньяк принадлежит к гасконской аристократической семье. У него долго оспаривали дворянский титул, но без всяких оснований: его дворянские грамоты в полном порядке и т. д.».

«Поль Гранье де-Кассаньяк — сын, 32-х лет, Кондом (департамент Жер), 9818 голосов. Журналист. Холост. Все его состояние — его доброе толедское перо. Это литературный Артаньян. Высокого роста, силен, с открытым лицом, с лихо закрученными усами и черными, густыми волосами. Смуглое лицо, живые глаза, жесты, произношение и храбрость — все выдает настоящего гасконца. С преданностью солдата служил империи. Служит ей и теперь, но как непослушное и заблудшее детище. Очень резок в полемике, даже слишком резок для человека с политическими видами. На его вспыльчивость и молодость сильно рассчитывают, чтобы вызвать скандал в новой палате».

«Надеются, что он сделается Артаньяном трибуны, как до сих пор он был Артаньяном прессы. Г. де-Кассаньяк отлично может и не оправдать этих предсказаний. Теперь, когда он оставил прессу, чтобы выступить на серьезной арене политики, мы не удивимся, если увидим в нем много перемен. Мы не удивимся, если он окажется похожим на тех сыновей из «порядочной фамилии», которые в последний раз собирают за хорошим ужином своих

друзей, чтобы проститься с холостой жизнью, а там становятся прекрасными мужьями и образцовыми отцами семейств. Господин дё-Кассаньяк еще с 1869 г. награжден орденом почетного легиона. Он сражался при Седане и в Германии был взят в плен.

У него было много дуэлей, о чем он очень жалеет. Он охотно извиняется перед своими противниками, но только после того, как обменяется с ними одним-другим ударом шпаги».

Четверг, 1 декабря 1876 г.

Сегодня утром в Марселе мне вдруг безумно захотелось вернуться в Ниццу. Вечером мы туда приехали.

Нас ожидали Аничковы с детьми и тетя.

Милые Аничковы! Я обожаю их. Это такие честные и прямые люди, такие любящие и преданные!

Во время обеда пришел наш милый генерал Быховец. Все возбуждает в нем смех и забавляет его, как ребенка. Я привезла ему папиросы из Полтавы. На каждой папиросе написано его имя. Мое внимание очаровало его. Доктору Валицкому, тете и Барноле я привезла такие же папиросы.

Я снова в моем лазоревом раю. Какая досада! Здесь так хорошо… Мои глаза отдыхают на этой роскоши и грациозной красоте… А я должна оставить все это и уехать!! Уехать… чтобы работать.

2 декабря.

Была на французской улице, разговаривала с простыми женщинами из народа.

Нет, конечно, никакой заслуги в том, если на простых примерах удается объяснить что-нибудь запутанное простым женщинам, которые ничего не знают, которые не задаются никакими вопросами. Тем не менее мое глупое тщеславие было польщено, когда я услышала вокруг себя шепот этих женщин на ниццском наречии: «Это верно, это совершенно верно. Если бы это говорил мужчина, его сделали бы королем». Всего больше мне польстило, что своими рассказами о несчастном положении императрицы Евгении мне удалось вызвать слезы на глазах этих женщин. Их особенно растрогали слова утешения, с которыми императрица Евгения обратилась к солдату, умиравшему в больнице во время эпидемии. У меня самой навернулись слезы на глазах. Когда же я указала им на их лавки, которых не пощадили бы грабители, если бы стали хозяйничать там, они растрогались еще больше. Я испытываю свои силы в этих сценах, как бонапартистка.

Суббота, 3 декабря 1876 г.

Княгиня Суворова навестила маму. Она недавно выдала замуж свою дочь, но все еще молода и хороша. Я показала ей наш дом, от которого она пришла в восторг. Узнав, что мы собираемся уехать из Ниццы она выразила удивление, как можно уезжать, когда имеешь здесь такое прелестное убежище.

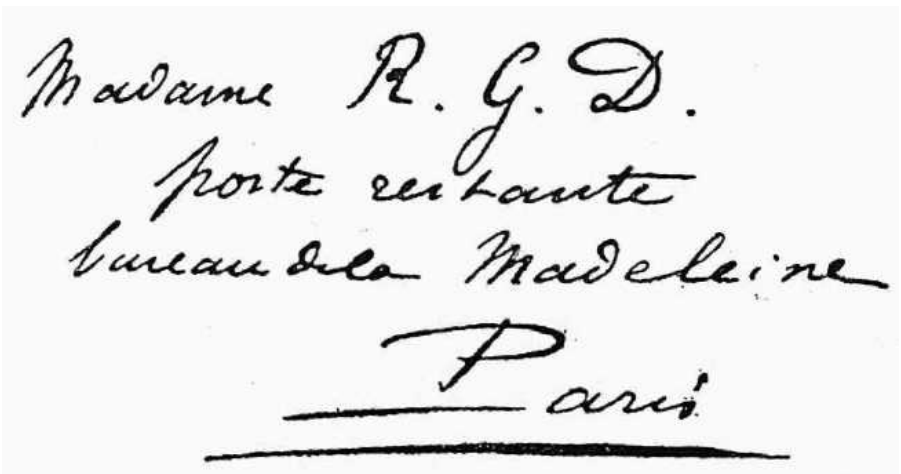
— Мы постараемся найти здесь профессоров, сказала она, — мы отыщем все, что вы захотите. Я сделаю все, что смогу, я буду позировать для вас, только останьтесь здесь.

Она опять хочет открыть салон, какой у нее был восемь лет тому назад. Но это бесполезно: я должна серьезно учиться, я должна уехать…

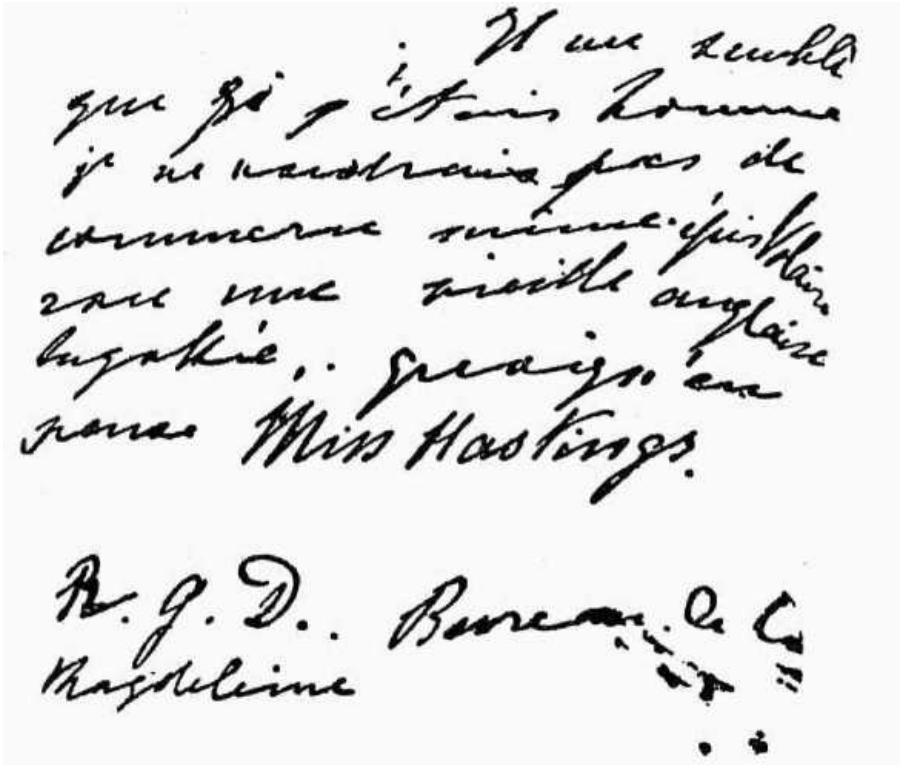
Какая досада! Какая жалость!..

Воспоминание о Риме заставляет меня замирать… Но я не хочу туда вернуться… Мы едем в Париж…

Рим!.. Как бы я хотела снова увидеть его или хотя бы умереть там!.. Я удерживаю дыхание… я потягиваюсь всем телом, как будто хочу *вытянуться* до самого Рима…



Факсимиле адреса, написанного Мопассаном.



Факсимиле части письма Башкирцевой к Мопассану.

Воскресенье, 4 декабря 1876 г.

К довершению удовольствия небо покрылось тучами. Только вчера было ясно, вечером сияла луна, похожая на побледневшее солнце. А сегодня по нем уже бегут черные разорванные облака, и сквозь них проглядывает такая же ясная блестящая луна, как и вчера вечером… Все это я заметила, когда направлялась в свой павильон. В Париже нет такого, воздуха, там нет этой зелени, там нет и этого благоухающего дождя.

Понедельник, 5 декабря 1876 г.

Я одолела, наконец, хотя и с большим трудом, все восемь томов «Молодость короля Генриха», Понсона дю-Терайля. Какая поучительная книга! Как жаль, что я не читала ее раньше! Великий Понсон! Он дал в этой книге полный курс воспитания монаха, который даже французский язык свой почерпнул из этой же книги.

Вторник, 6 декабря 1876 г.

Я начала писать портрет Ольги Аничковой. Это прелестная пятилетняя крошка. Жаль только, что ее ужасно избаловали, и она не хочет признавать ничьего авторитета. Меня она, однако,

слушается.

Сегодня вечером иду в оперу на первое представление «Бала в масках».

Меня никто еще не видел с тех пор, как я вернулась из России, я нигде еще не была. Поэтому-то я и готовлюсь к сегодняшнему выходу.

Бывают счастливые дни, когда все удается. Сегодня у меня как раз такой день. Мне удалось причесаться именно так, как я хотела. Волосы как-то сами собой так красиво улеглись, что голова стала похожа на прелестные головки античных греческих статуй. Вся масса волос охвачена спереди тонким золотым обручем, только затылок остался обнаруженным и на него падает несколько завитков. Я надела совершенно гладкое платье, без шва, облегавшее меня мягкими складками, словно статую. Это меня немного стесняло, потому что такое платье не в состоянии скрыть мои почти идеально-плотные формы. Само собой разумеется, что никаких украшений не платье не было. Я даже запретила подрубать его, так что бахромчатые края его висели свободно. На шею я надела жемчужное ожерелье. И лицо мое тоже оказало мне сегодня любезность: оно показалось во всем своем блеске…

Я сильно изменилась за этот год. Я выросла, я делаюсь женщиной.

Зал был полон. Там были Суворовы, баронесса Пайкерслуз, генерал Быховиц. Когда я вошла, несколько человек, сидевших в партере, поклонились мне. Что касается львов, то на них я не смотрела.

Когда мы выходили и генерал пошел разыскивать мою карету, Б. все время вертелся возле меня, очевидно стараясь столкнуться со мною лицом к лицу, чтобы удостоить меня поклоном. Я несколько раз поворачивалась спиною к нему и, наконец, совсем отвернувшись, стала рассматривать стену. Он, вероятно, потерял терпение, поклонился тете и заговорил со мною. Как раз в эту минуту вернулся генерал, и я была очень довольна, что могла тотчас же покинуть этого господина.

Суббота, 10 декабря 1876 г.

Дочь Тамбурини, госпожа Бонэн, послала нам пригласительные билеты на панихиду по ее отце. Я пошла туда, одетая в глубокий траур. Я очень люблю церкви и похоронное пение, — для меня это праздничные минуты.

Пришлось, конечно, пройти по бульвару и показать себя.

Прошли мимо оперы и зашли туда поболтать по-итальянски с Кресчи в присутствии всей труппы.

Дома я нашла букет и карточку папы. Затем мы поехали на каток, принадлежащий «Средиземному клубу». Там нас уже ждала мама с госпожой А., генерал Вольф (товарищ военного министра), Пеликан и Бруссэ.

До сих пор я никогда не бывала на катке, и мне приятно было смотреть на все эти грациозно и плавно двигающиеся, скользящие и падающие фигуры.

Граф Марков подошел поздороваться с нами. Несколько минут спустя с противоположного конца катка прискользнул к нам на своих коньках А. Он любезно поздоровался со мной, наговорил мне много о моих маленьких ножках, которые были бы прелестны в коньках, и отпустил несколько шуток по адресу конькобежцев. Я, в свою очередь, любезно отвечала ему, но в моей любезности чувствовалась заносчивость вполне хорошего тона. Отныне я буду держаться этого тона со всеми. На этого же господина я смотрю свысока еще больше, чем на других. Марков снова подошел, я повернулась к нему, а Г. вернулся на свое место. Он, вероятно, не чувствовал себя очень польщенным моим приемом, отнюдь не походившим на веселое щебетанье других девиц.

Все мое внимание было поглощено сестрами Готье. Господи, до чего они хороши! Словно гурии Магометова рая. Бархатные глаза, несколько орлиный контур носа, закругленный книзу, розовые щеки, сочные, красные губы… Они чудно хороши!

Воскресенье. 11 декабря 1876 г.

Я была в церкви. Погода так хороша, что я пошла погулять после того, как попробовала кататься на коньках. Я была на катке в то время, когда там никого не было. Вечером я пошла в оперу. Гладко причесанные спереди волосы легкими волнами падали на затылок, а затем снова несколькими локонами собраны были спереди. Эта прическа вполне гармонировала с русским костюмом — батистовой шемизеткой под фуляровым платьем, тем самым, в котором я бывала в парижской опере.

Мой наряд и прическа сильно изменили меня. Я походила на картину. Я не стану восхвалять свою красоту, предоставляю это другим, — я отдаю только справедливость всему ансамблю…

Все это прекрасно! Но теперь следовало бы спать, а не столбенеть перед этим Титом Ливием всяких горестей… Нынешний вечер я презираю себя, презираю и эти записки.

Понедельник, 12 декабря.

Б. поднес мне букет со словами: «Эсмеральде от Квазимодо. Эти цветы невинны и их можно поднести такой чистой голубке,

как вы. Пестрый букет был бы недостоин вас».

Когда этот человек начинает в таком тоне шутить и привирать, он делается заразительно комичным.

Газеты описали платье, в котором я была в опере третьего дня вечером. Вот что было сказано о нем:

«M-lle Башкирцева была восхитительна в тяжелом шерстяном платье, напоминающем древний римский костюм, полный самой изысканной простоты».

В первый еще раз ниццские газеты оценили и поняли мой туалет.

Любите ли вы Тита Ливия, как я? Я нахожу его таким же интересным, как Александра Дюма. Не смейтесь над сравнением, жалкие невежды и педанты!

— Если бы вы провели зиму в Риме, — сказал мне капитан Б., — у меня явилось бы к вам чувство, *почти похожее* на презрение…

— Что касается меня, заметил Кассаньяк, — у меня такого чувства не было бы, но я искренно жалел бы вас.

— Ну, так я и не поеду туда. Только не под влиянием ваших слов я делаю это. Я еду в Париж, потому что меня привлекают туда уроки на арфе и Бартель.

Что-же вы сделаете для меня, при всей вашей любезности, при всем вашем хорошем мнении о моей особе? Что можете вы сделать?

Я знаю человека, который любит меня, который понимает и жалеет меня, кто всю свою жизнь кладет на то, чтобы сделать меня более счастливой. Этот человек все сделает для меня и добьется своего. Он никогда больше не изменит мне, хотя он и изменял мне раньше. И этот человек — *я сама*!

Не следует ничего ждать от людей, — они могут доставлять нам одни только разочарования и огорчения. Будем твердо верить только в Бога и в свои собственные силы.

И раз уже нам честолюбие дано, то постараемся же добиться чего-нибудь, постараемся чем нибудь оправдать это честолюбие…

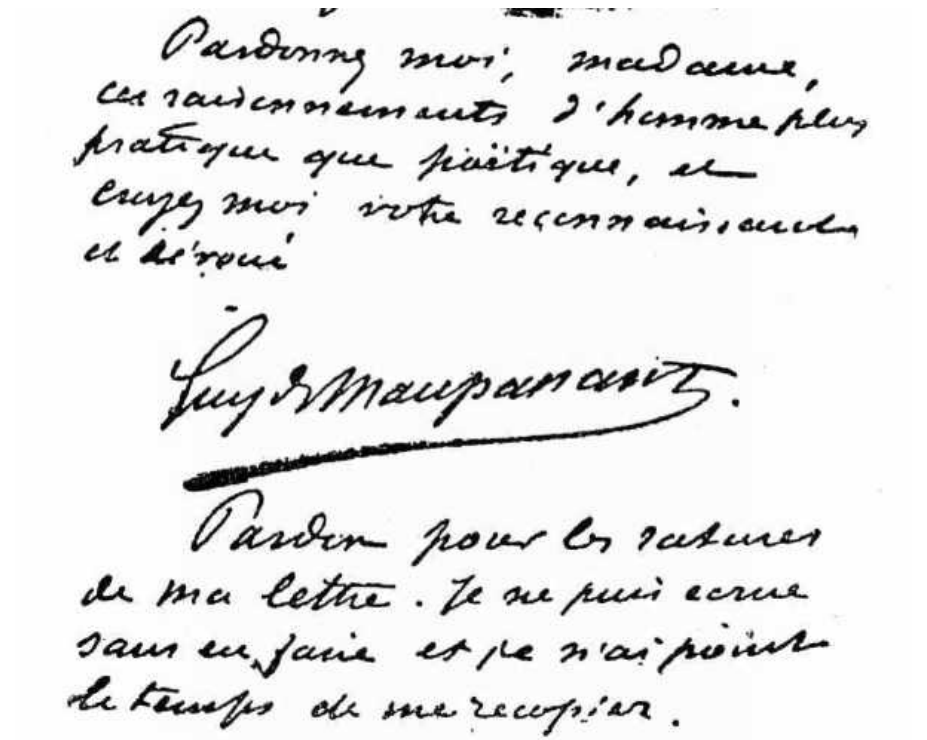
1877 г.

Воскресенье, 1 июля 1877 г.

Вследствие всех этих политических неурядиц и волнений, сегодняшнего смотра ожидали с замиранием сердца. Надеялись на восторженную встречу маршала[7], что в армии произойдут манифестации. Все, однако, прошло спокойно, — ничего не случилось. Раздалось только несколько жидких аплодисментов по адресу армии.

Опишем, впрочем, по порядку этот прелестный день. Прежде всего мне принесли платья, из которых ни одно не оказалось подходящим.

Это раздражает больше всего, за исключением, впрочем, дурного обеда.


Pardonnez moi, madame,
ces vagissements d'homme plus
prattique que poétique, et
croyez moi votre reconnaissant
et dévoué

Guy de Maupassant.

Pardon pour les ratures
de ma lettre. Je ne puis écrire
sans en faire et je n'ai point
le temps de me recopier.

Факсимиле части письма Мопассана к Башкирцевой.

В 9 часов мы уехали с госпожой и господином де-М. По дороге я ежесекундно только и слышала, что разного рода наставления и опасения. То они боялись, что мы опоздаем или что места будут плохие, то являлись у них различные опасения

насчет нашего кучера, насчет погоды, насчет давки и т. д. Все это страшно сердило меня. Только французы умеют раздражать такими пустяками.

Наконец, мы приехали. Места наши оказались до того мало аристократическими и со всех сторон нас так сдавили, что я не стерпела и ушла оттуда.

Мы вышли на лужайку. Но много времени прошло прежде, чем нам удалось отыскать нашего лакея и карету.

Жену маршала Мак-Магона приветствовали, как королеву… впрочем, нет, пред ней довольно торопливо снимали шляпы, а она кланялась направо и налево. Это не произвело на меня никакого впечатления, между тем как лица тех, что приветствовали принцессу Маргариту, австрийскую императрицу и нашу Великую Княгиню, показались мне исполненными почтительного восторга.

Однако порядочное животное этот господин де-Ф. Меня так и подмывает написать ему:

«Милостивый Государь!

Кажется, гораздо легче было просто выразить свое сожаление, а не посылать билеты на такие места».

Впрочем, мы с ним увидимся завтра. Я предпочитаю лучше сказать ему, упомянув о смотре: «Я не была там. С моими билетами пришлось бы сидеть на стульях, поэтому я отдала их своей портнихе».

Вторник, 3 июля 1877 г.

Мы осматривали замок Ворта[8] в Сюрене. Мне было страшно досадно, что о портном говорили, как о каком-нибудь короле. Но замок или, вернее, вилла, действительно, настоящее чудо.

Начиная с ложи привратника и кончая голубятней — там все прекрасно, на всем видна печать самых тщательных усилий и забот.

Здесь много павильонов, оранжерей, садов.

Кажется, ни одно жилище в мире не может сравниться с этим замком. Одних только наружных украшений столько и в таких разнообразных сочетаниях, что за ними исчезает самый дом, даже самые стены.

Это какое-то безумное изобилие деталей, старинного стиля и всякого рода редкостей. Строители умудрились рассыпать фарфор даже на превосходно устроенных среди зелени и цветов газонах. Сюда привнесено все, что только можно было привнести законченного, исключительного и красивого в вортовских корсажах и мантильях. Все, что можно было подобрать изысканного в мире красок, вышивок и кружев, чтобы создать

шедевр туалета, — все в изобилии применено и здесь, но с удивительной тонкостью и вкусом.

Кажется положительно невозможным, чтобы человек в полном рассудке мог думать о сочетании этого миллиона безделушек. Каждая из них в отдельности представляет художественную вещицу или драгоценную игрушку.

Можно не приходить в восторг от этого удивительного жанра, но необходимо отдать ему справедливость: *в своем роде* это величественно. Видно, что человек любит все эти украшения, как артист. Тысячи мелочей говорят о возвышенном вкусе, даже о культе великих людей и великих дел.

Мало того. Во всем этом можно уловить даже некоторую претензию и на собственное величие. Это простительно и, собственно говоря, вполне естественно. Каждый велик в своем роде. Быть может, даже гораздо труднее возвыситься в таком искусстве, которое охотно считают ремеслом, чем в таком, которое само по себе высоко и серьезно. В этом, быть может, даже больше заслуги. Впрочем, если бы захотеть пойти дальше и серьезно разобрать, какое отношение имеют к самым важным интересам и событиям мира женские наряды, заполняющие полжизни женщины, то нашлось бы много удивительного и неожиданного. Но я не хочу заходить слишком далеко. К тому же такой анализ, если уж браться за него, должен бы сделать какой-нибудь признанный авторитет, иначе анализ встретит только насмешки.

Чертовские французы! Как только очутишься среди них, не можешь удержаться, чтобы не относиться с пренебрежением ко всякому благородству происхождения, ко всяким богатствам, состоянию и заслугам не французского происхождения. Кажется, вне этого горнила нет ничего живого, ничего мыслящего, ничего знаменитого! Кажется… да это так и есть в действительности. Париж — колокол, возвещающий миру обо всем, что оказалось достаточно сильным, чтобы привести его в движение…

Среда, 4 июля 1877 г.

Как-то, болтая об А., об Л., о браке, я сказала, что выйду замуж только за человека, имеющего 500000 франков дохода.

Рассказывают о несчастном браке маркиза Прео и предлагают мне выйти за него замуж: ему 65 лет и он имеет по меньшей мере 600000 франков дохода.

Я ответила, что заранее согласна на это, что устрою ему отличный салон и буду умницей. И я это сделаю.

Нет, в самом деле это было бы по мне: древний аристократический род, великолепный замок, чудесный отель,

конюшня, драгоценности…

Вот было бы отлично, если бы небо послало мне когда-нибудь подобную награду!

Этот уже не чета А.! Я отреклась бы тогда от всех этих банальных слов!..

Четверг, 5 июля 1877 г.

Доктор Фовель привел меня в восторг, сказав, что все идет, как нельзя лучше. Он сказал мне еще многое относительно моего голоса, и его слова заставили меня воспрянуть духом.

Суббота, 7 июля 1877 г.

Обыкновенно мне нужна неделя, чтобы приготовить свои туалеты к отъезду. Теперь я занимаюсь этим уже с 16-го и до сих пор у меня еще ничего нет.

Ворт и Лаффьер задерживают все мои корсажи. Каждый раз их нужно переделать и каждый раз дело идет все хуже и хуже.

Я продолжаю размышлять о письме Фостера. Эти размышления внушили мне идеи и проекты, которыми я помаленьку займусь. Вы узнаете о них, как только они примут какую-нибудь определенную, реальную форму.

Я очень редко буду показываться в парижском обществе. Посмотрим, что даст эта зима.

Я отдыхаю душой, думая о своем искусстве, о своем последнем высшем убежище. Мне очень улыбается перспектива провести сезон в Лондоне в кругу Фостеров, друзей Аничковых по посольству, и леди Пэджет, старшей сестры Берты.

А потом… всегда это «потом»… Потом путешествие в Испанию, в эту оригинальную, отрезанную от всего остального мира страну…

Понедельник, 9 июля 1877 г.

Мы были у гадалки, донны Стефаны. Она начала с того, что карты знают только прошедшее и только ближайшее будущее, которое непосредственно примыкает к настоящему моменту.

— У вас будет много, очень много неприятностей. Вы страдаете… В вашей душе хаос и смятение. Вас преследует мысль об одном молодом человеке; вы почти любите его. Он причинял вам много огорчений, причиняет их и теперь и будет еще причинять, но все-же вы любите его. Он также любит вас, но его окружают дурные люди, которые дают ему дурные советы. Особенно много зла причинил вам один из этих людей, — человек небольшого роста. Впрочем, теперь между ними холодные отношения… все свое время этот молодой человек

проводит с каким-то стариком.

— О! вы артистка, вы пишите картины, вы музыкантша. У вас в руках невероятная ловкость. Вот как! У вас сильно играет воображение… Вы уже три раза воображали себе, будто любите, (а может быть, вы будете любить три раза). Но, повторяю, ваше сердце не принимает в этом участия, вы переживаете это только головой. Вы одержите много побед и будете жить больше 90 лет. У вас счастливая рука, вы созданы для счастья и восторжествуете над всем… но удовлетворение в любви вы найдете только после того, как удовлетворено будет ваше самолюбие.

Все это она говорила, разглядывая то руку, то карты. Все, что она мне сказала, верно… все это не общие места.

Не знаю почему, но я волновалась, слушая гадалку. Я волнуюсь еще и теперь, у своих поставщиков, которые меня изводят. Это предсказание все время сердило меня, и это ее решительное «нет» леденит кровь в моих жилах, как все, что кажется неизбежным.

В пятницу, 18 февраля 1876 г., я была на балу в Капитолии и беседовала с А. Он рассказывал мне об Л., которого я в то время не знала. В понедельник, 21 февраля, А. нанес мне визит. В пятницу, 10 марта 1877 г., я встретила А. в Неаполе. В понедельник, 12 февраля 1877 г., я дошла до Канчелло. В пятницу, 16 марта, я получила первое письмо. В пятницу, 6 апреля, я говорила с королем. В понедельник, 23 апреля, я получила последнюю записку от А. В пятницу, 15 июня, я узнала о его приезде в Ниццу и хотела переодеться, чтобы видеть его, не будучи им узнанной.

Я скучаю. По совету мамы я написала художнику Гордиджани.

Я не могу не думать о ком-либо. И хотя я отношусь безразлично к А., но пусть он займет тот уголок моих мыслей, который предназначен для этой стороны жизни…

Почему некоторые имена поражают нас? Слышишь какое-нибудь незнакомое имя. Оно странно звучит в твоих ушах. Потом часто воспоминаешь о нем без всякого повода, просто так.

На том балу в Капитолии А. ведь рассказывал мне о многих, называл мне всех мужчин, которые там были, а я почему-то обратила внимание только на Л.

Это имя всегда производило на меня сильное впечатление.

На том же балу А. прошел со мною мимо Л. и указал мне на него: «вот Л., вы его знаете?»

— Ваш Л. слишком некрасив для того, чтобы я его знала.

Пятница, 13 июля 1877 г.

Мы продолжаем осматривать отели. Между прочим мы посетили отель герцогини Риарио Сфорца, урожденной Беррие. Гербы ее предков, пап и кардиналов, ослепили меня, очаровали. Я отвлеклась от них только для того, чтобы заглянуть в ламартиновский «Жоселэн». Но когда я наткнулась на то место, где «Жоселэн» снова встречается с Лорансой, я не могла оторваться и прочла целых три страницы. При чтении этой сцены на меня нахлынула целая волна мыслей.

Я сама не знаю, о чем я думала! Только наверное не об А. Скорее всего я думала о Риме, о нашем мрачном балконе, о дожде, об Антонелли, который как-то раз вечером убежал с концерта, спасаясь от моих придирок. Впрочем, нет, и не об этом я, думала, потому что я не любила бы, если бы была любима. Так о чем же я думала? Нет, г. де-Ламартин! нехорошо сочинять такие книги, как «Жоселэн». От чтения этих чудесно описанных душевных страданий у некоторых честных людей глаза наполняются слезами, а сердца обливаются кровью, хотя самому г. Ламартину, быть может, все это и ничего не стоило…

Розали встретила сегодня вечером курьера прусского принца. Этот курьер часто приносил нам весточки и букеты от графа Денгофа. Розали говорила с ним о графе Денгофе и о г. де-Л. Об обоих шла молва, будто они умирают от любви ко мне, и прислуга спорила насчет того, у кого из них больше шансов.

Воскресенье, 15 июля 1877 г.

Вчера я начала рисовать. Моя мастерская готова.

Мы пошли на «Маделэн», чтобы видеть наших львиц-щеголих, но в этом отношении я была обманута. Я надела белое бумажное платье, стянутое в талии египетским поясом, белые кожаные ботинки, тонкую соломенную шляпу с белым креповым шарфом. В руках у меня был букет ландышей и большой белый, очень плоский зонтик. Проще и выдумать трудно.

А выставка! Но не будем преждевременно мучить себя.

Целый день я рассматривала чудеса античных, высоко — художественных вышивок. Я видела платья — настоящие буколические или рыцарские поэмы! Я видела образцы роскоши и великолепия, каких и не подозревала. И это была роскошь настоящего beau monde'a, а не полусвета.

Да, все это прекрасно, но мне оно теперь ни к чему не послужит.

Как только нам понравится какой-нибудь наш поступок, мы тотчас же говорим: я буду это делать всегда!

Говорят: я буду всегда это любить, потому что надеюсь, что это всегда будет доставлять мне удовольствие. Но как только

является что-нибудь другое, что кажется нам более желанным, — все прежнее исчезает: и желание, и обещания, и клятвы…

Я боюсь этих ужасных парадоксов. Но, быть может, это не парадоксы, а великие истины? Кто знает?

Суббота, 22 июля 1877 г.

Время летит с ужасающей быстротой! Я в отчаянии, глядя на себя!

Почему я любила только себя?

Если бы я в жизни нашла какую-нибудь искреннюю привязанность, я забыла бы о себе.

К счастью, мне это счастье не было дано. Я принадлежу только себе одной, и теперь, глядя на себя, я прихожу в отчаяние.

Я пережила всякого рода разочарования: я боролась, плакала, приходила в отчаяние. И знаете, что со мной сталось, во что я превратилась? Знаете ли вы всю глубину моего несчастья? Понимаете ли вы, до какой степени я чувствую себя погибшей?

Так знайте же — я смирилась!!! Может ли быть что-нибудь лучше этого?..

Французы уверены, что они обладают *своей* школой живописи, своей школой пения.

Но все, что они знают, они приобрели у итальянцев. Все они поэтому и стремятся в Италию. Самый бедный, самый несчастный француз делает все, чтобы накопить немного денег и побывать в Италии. Господи, как глупо рассказывать о том, что всем давным давно известно!

Мы были у доктора Фовеля. Я осведомилась у него, можно ли мне будет начать заниматься через два месяца. Он ответил:

— Да, но вы должны быть очень осторожны. Что касается учителя, то я советую вам выбрать итальянца. Что бы там не говорили теперь, а итальянцы — лучшие учителя в мире.

30 августа.

Сегодня вечером за чаем у нас было несколько знакомых, между прочим, монсиньор Филипп Бурбонский. С ним надо считаться, — все-таки одним кавалером больше. Он брюнет, маленького роста. У него свежий цвет лица, черные, длинные усы, широко развитая и подвижная нижняя челюсть. Он часто морщит лоб. У него хорошие простые манеры, и, по-видимому, он не слишком глуп. Весь вид спокойный, незначительный.

Он помог мне приготовить шоколад, и вообще он, кажется, добрый малый.

Но, Господи, я все забываю сказать вам, что Поль, мой родной

брат Поль, приехал сегодня утром в шесть часов из России!

Он такой толстый, коренастый. Рядом с ним я кажусь маленькой принцессой.

Неаполь, вторник 27 февраля 1878 г.

Консул Наринов пробыл у нас больше часа. Мы с ним знакомы уже пять лет. Это милый и добрый человек.

Он самым забавным образом рассказывал нам о проделках неаполитанских сеньоров. Впрочем, перед нашими окнами ежедневно вертится до двадцати таких сеньоров, а иногда и более, и мы можем наблюдать их проделки. В руках этих господ всегда белеет платок, который, очевидно, имеет свое специальное назначение.

Он очень мило рассказывает много интересного и забавного, и я жалею, что уже поздно и что нельзя оставаться здесь дольше. Через него я могла бы получать приглашения на большие балы и, вообще, провести время весело и приятно.

Наконец, он посвятил нас во все, касающееся здешней жизни.

Я почти уже не безумствую. Я даже была в очень хорошем расположении духа, когда после консула пришел граф Денгоф. У госпожи де-Руэ я играла в карты с его прусским превосходительством.

Париж.

Удобная гостиная и славный, тихий день. В этой гостиной я увидела пожилую даму, которую никак не ожидала встретить такой и потому преисполнилась к ней почтения и уважения. Она живет по Елисейской улице, № 4. Эта улица как-то подходит к ней, вернее, она сама подходит к этой улице и прекрасному Елисейскому саду, к этим большим и почтенным деревьям, к этим длинным гостеприимным ветвям.

Ах, если бы она помогла мне получить билеты!

Что касается К., то он весь поседеет раньше, нежели я у него что-либо попрошу.

Заседание состоится после завтрака. Я так взволнована этой погоней за билетами, что не могу ни читать, ни есть, ни одеваться. Весь Париж жаждет попасть туда, а ведь мест не слишком-то много!

Когда мы уселись, чтобы поехать в Версаль, Б. попросил разрешения сесть в том же вагоне. С ним было пять человек депутатов. Между ними находился и г. де-Бувиль и граф д'Эспёйль, выборы которого были признаны недействительными в шесть часов вечера.

Я ответила на его поклон и продолжала читать газету,

нисколько не интересуясь им больше. Я слушала этих господ, но сама говорила мало.

Вдруг среди разговора он вынимает из кармана кучу билетов и говорит:

— Я взял их у своего отца… специально заходил к нему для этого.

Сегодня утром я сказала ему, что у его отца восемь билетов. А узнала я об этом еще вчера от Г. Он говорит, будто я обыкновенно пишу ему всегда в тот самый день, когда нужны билеты, так что у него уже ни одного не остается. В этот раз я еще, слава Богу, не написала ему, да и никогда больше не буду ему писать. Тетя взяла у него два билета в депутатскую ложу.

Места у нас были хорошие. Наблюдать было интересно. Г. казался бесконечно веселым, вероятно, от мысли, что ему удалось избавиться сегодня от заседания.

Во время послеобеденного заседания палаты я заметила, что рядом со мною сидит очень красивая женщина. Так как смотрели в нашу сторону, то я захотела точно узнать, на кого из нас смотрят, и отодвинулась в угол, подальше.

Взоры последовали за мною, в мое убежище.

Мне бы даже следовало совсем не говорить с этим господином. Но я предпочла смеяться над ним и все время только и делала, что насмехалась. Надо отдать ему справедливость, он умеет мне отвечать. Теперь тетя в восхищении. Раньше ее задевало, что другая женщина привлекала к себе внимание; она не может выносить, чтобы смотрели на кого-нибудь, раз я тут. Бедная тетя!

Я вернулась домой утомленная и осталась убежденной бонапартисткой, хотя и не соглашалась с… (я не знаю, хорошо ли я сделала, сказав это…) Он сказал нашим депутатам, что этим дамам, приехавшим из страны рассудительных людей, должны казаться странными здешние порядки.

Говорят, что К. не пройдет завтра, что выборы его будут отложены до октября.

На вокзале к нам присоединился г. Г., и мы вернулись домой вместе. В вагоне он представил нам Падуанского герцога, дядю этого кроткого М., и еще кое-кого.

Говорили о политике, об искусстве, о ниццском обществе времен империи, от которого еще сохранились кое-какие остатки. Я рассказала им некоторые новости из жизни этих остатков имперского beau monde'a.

Должно быть я была мила и говорила умно, потому что меня слушали, казалось, с большим удовольствием, — особенно Падуанский герцог. Не правда ли, приятно ехать в Версаль и

возвращаться оттуда в обществе бонапартистских депутатов?

— Скажите, пожалуйста, как… Какого мнения ваша партия о К.? Кто ваш герой? Кто ваш оратор? Кто вас защищает?

— Нельзя, конечно, отрицать… как бонапартист… как оратор он имеет крупные достоинства… Но он совсем не тот человек, за которого многие его принимают, К.[9] не смельчак и сорванец, каким его считают. Ни разу в жизни он не кипятился. Всегда он действует по расчету, и только по расчету. Надо сознаться, что он великолепно играет раз принятую на себя роль! Чему действительно надо удивляться в нем — так это его поразительному хладнокровию, которое никогда ему не изменяет. Но мужество?..

— Что же, мужество!..

— Понятно, нельзя совершенно отрицать за ним мужества. У него было 17 дуэлей, и некоторые из его противников стреляли лучше его. Но он ловок, почти так же ловок, как и мужествен. Это в полном смысле южанин, вплоть до ловкости.

Так, например, ему как-то удалось удивительным образом выпутаться из истории с Клемансо и еще с одним.

Если бы он принял их вызов, то это значило бы идти на верную смерть. Будь он действительно тем смельчаком, каким его считают, он не стал бы рассуждать. Но он сказал себе: меня все знают, меня ожидает блестящая будущность, женщины благосклонно относятся ко мне… и он не дрался. Удивительнее всего в этой истории то, что все нашли его правым!

Что касается меня, то я порицаю его за это, потому что, по моему, когда оскорбление нанесено, нужно…

Пятница, 5 июля 1878 г.

Я была с госпожой Гавини на панихиде, торжественным образом устроенной за упокой души этой бедной испанской королевы.

Любить своего мужа и быть им любимой, иметь всего 18 лет от роду, быть испанской королевой и умереть!.. Предоставляю «Figaro» говорит об этой церемонии. Мне она показалась холодной и ни капельки не тронула меня. Я сохранила пригласительный билет.

1883 г.

2 января 1883 г.

До сих пор я все еще никак не могу поверить, что Гамбетта умер! Я все еще не могу свыкнуться с этой мыслью, несмотря на шум, вызванный этой смертью, несмотря на газетные статьи, посвященные этому великому событию. Оно произошло еще так недавно, что измерить и понять его значение можно будет только по прошествии некоторого времени.

Советую вам прочесть статью о Гамбетте в «Justice» — газете Клемансо, — которая всегда враждебно относилась к Гамбетте.

Она меня глубоко тронула.

Сегодня вечером у нас должно было обедать несколько человек знакомых, но никто не явился. Приезжала герцогиня Фитц-Джем поблагодарить нас за цветы, которые мы ей послали. По ее мнению, со смертью Гамбетты можно рассчитывать на реставрацию.

Мне же это кажется мало вероятным… Правда, эта смерть была сильным ударом, таким сильным, что даже я, никому неведомая чужестранка, была им потрясена до глубины души… Этот гений, так глупо и пошло оклеветанный, заслуживает высокого апофеоза, и я надеюсь, что его друзья воздадут ему должное. Кто заменит его? Клемансо со своим доктринерским красноречием, правда, богатым и убедительным? Я видела этого Клемансо, этого доктора… Я видела его недавно вечером в опере и третьего дня у цветочницы Вальян…

И подумайте только, что их было семеро!

Какой несчастной я себя чувствую, сознавая, что я живу совершенно в стороне от того, что собственно составляет жизнь обожаемого мною Парижа!...

Быть всегда в стороне от этой жизни!.. И кому же? Мне, которая готова отдать все на свете, чтобы только иметь возможность кипеть вместе со всеми в этом божественном горниле, подле госпожи Адан!

Жери приходил сообщить, что его сын получил орден от султана.

Среда, 3 января 1883 г.

Наконец-то!.. Судя по газетам, Бастиен Лепаж ни на минуту не покидал Ville d'Avray…

Сегодня вечером мы были в опере. По обыкновению, мы сидели в ложе Каза Риера. Там были Гавани, Жери, Нерво, Лагирл, маркиз и маркиза Вильнёв и маркиза-дочь принца Пьера

Бонопарта. На мне было легкое, белое, газовое платье, покрытое розами. Свою косу я обвила вокруг головы и чувствовала, что эта корона волос была восхитительна. Маркиз де Каза Риера был там же. Это племянник покойного старика, от которого он унаследовал 60 миллионов.

Четверг, 4 января 1883 г.

Я видела Жюлиана. Он носил с собой в кармане так глубоко растрогавшую меня статью Пельтана.

Пятница, 5 января 1883 г.

В Бурбонском дворце. Нас впустил в палату г. Гавини, через особые, привилегированные двери. Уже во дворе я почувствовала, что бледнею от всего, что мне пришлось увидеть. Меня потрясли до глубины души и венки, и озабоченные люди, встречавшиеся нам, и их покрасневшие глаза, и, наконец, величественный, грандиозный катафалк. Огромный, весь задрапированный черной материей зал казался крохотным от множества венков и бесконечной массы цветов. Высоко над балдахином с четырьмя колоннами, обвитыми трехцветными знаменами, стоял гроб. Все это, освещенное массой свечей, ошеломляло своим контрастом с ярким солнечным днем. В ту минуту, когда мама подвела ко мне Х., я не выдержала и расплакалась. Плакал и Х., пожимая нам руки и беспрерывно повторяя: «благодарю, благодарю».

Я улыбнулась, как бы извиняясь за свои слезы, но он несколько раз принимался плакать. Когда волнение мое уже улеглось, я хотела пройти мимо него, сделав вид, что не замечаю его, но он схватил мои руки и, снова сжав их, опять повторял свое жалобное: «благодарю, благодарю».

Я очутилась, наконец, на воздухе и вернулась к сознанию действительности. Пришел в себя и этот бедный Г., который принял И. за Бастьена Лепажа и осыпал его комплиментами.

Суббота, 6 января 1883 г., воскресенье, 7 января 1883 г.

Теперь интересно читать газеты. «Voltaire» вызывает на глаза слезы, а «Figaro» осушает их своими отчетами. Эти отчеты, быть может, правдивы и беспристрастны, но они отнимают всякую иллюзию, лишают энтузиазма, а это все-таки досадно.

Мне очень нравятся речи Бриссона. Да, Г. прав — мы «обезглавлены». Это верно, — Гамбетта был главою нашего поколения, его поэзией. Я говорю «нашего», хотя и не имею счастья быть француженкой.

Но, оставаясь иностранкой, я все же стою за братство народов и за всемирную республику.

«Justice» уверяет, что люди не имеют значения, и что главная роль принадлежит идее. Газета хочет таким манером ободрить республиканцев.

Прекрасно… Если люди ничего не значат, так дайте нам конституционную монархию! А, вы не хотите? Так как же вы говорите, что люди не имеют никакого значения?

Мне же кажется наоборот, что именно люди — все и что республиканские принципы прекрасно совмещаются с этой мыслью. Да, править должны люди, избранные за свои заслуги, каково бы ни было их происхождение.

И то, что могло бы быть слишком… поэтичным при такой системе, то умеряется республиканскими учреждениями.

Такие люди, как Гамбетта, всегда заставят провозглашать себя избранниками, но все-таки нужна республика, чтобы сделать их полезными.

Почему на похоронах Гамбетты, как некогда на похоронах Мирабо, никто не ощущал скорби? Я сама испытала это, казалось бы, непонятное чувство, — но оно, несомненно, так.

«Justice» указывает на античный характер, какой имела вся похоронная церемония. Возможно, что самое величие покойного, все почести, которые воздавали его гению, не давали места тому отчаянию или скорбному умилению, какое обыкновенно внушает смерть более обыкновенных людей…

Уже нет Скобелева, нет Гамбетты, нет Шанзи. Прощай франко-русский союз и мечта об уничтожении Пруссии!

Если бы Скобелев, Гамбетта и Шанзи остались в живых, Франция вернула бы Эльзас-Лотарингию, а нашим прибалтийским губерниям не угрожала бы опасность. А теперь?..

У нас обедал сегодня Жюлиан. Вечером пришел Тони Робер Флери. Говорили все время о покойном. О чем же говорить, если не о нем? Как пусто без него! Как странно!

Его не достаточно ценили при жизни. Никто не отдавал себе отчета в том значении, какое он имел для нашей эпохи.

Прочтите речь Бриссона. Меня так волнуют все эти события, что я начинаю чувствовать себя французской патриоткой, готовой умереть за Францию.

Переживая все эти сильные волнения, так сказать, отвлеченного, высшего характера, чувствуешь, что близка к самым источникам жизни и поднимаешься на ту высоту чувства, на которой вырос сам Гамбетта…

Неправда ли, имена людей похожи на них самих?.. Взгляните на портрет и всмотритесь в имя «*Гамбетта*»! А *Флоке* с этими откинутыми назад волосами, с этими сжатыми губами?.. А вот *Греви*, имя которого так соответствует и его нравственному и

физическому облику. Ну, а *Клемансо*? В этом имени есть что-то напоминающее скромность и откровенность и в то же время и мелочность, и сухость, режущую точность. А что вызывает в вас имя *Рошфора*?.. Человека с пеной у рта, оскорбляющего всех и размахивающего во все стороны своим пальчиком.

Ж. и Д. с восторгом слушают меня. Д. жалеет, что я женщина, Ж. говорит то же, слегка улыбаясь, чтобы не подумали, будто я покорила его так же, как музыканта.

Я удручена. Не могу передать, до какой степени меня возмущает и печалит мысль, что все кончено, что этот великий художник, этот великий трибун замолк на веки. Это «преступление со стороны смерти», как верно выразился один журналист об этой потере!

10 января.

Что будет с Рошфором? На кого станет он изливать свое остроумие? Кто помешает развитию таланта г. Клемансо?

На другой день после похорон на кладбище Père Lachaise была огромная толпа народа. Газеты говорят, что никогда еще не было такой громадной процессии.

Положительно не знаю, что было бы теперь со мною, если бы я имела счастье лично знать этого человека!..

Вторник, 9 января 1883 г.

Смерть Гамбетты не возбуждает печали и не кажется несправедливостью судьбы. Вот уже целую неделю я увлекаюсь чтением всего, что может меня познакомить с Гамбеттой, Мирабо и французской революцией. Я совершенно поглощена этими книгами. Ведь, французская революция принадлежит всем, поэтому я не должна бы казаться смешной, страстно интересуясь этими необыкновенными событиями. Они сильно потрясли меня. Я горю, как в лихорадке, забываю обо всем, часто не могу даже от волнения есть и только вечером выпиваю немного бульону, который мне приносят.

Среда, 17 января 1883 г.

Принц Жером арестован за манифест, который был вчера всюду развешан. В этом манифесте принц не проявил себя ни республиканцем, ни бонапартистом. Он хочет свободного плебисцита, которого хотели бы очень многие: ведь, это — республика с наследственной властью. Что сказать об этом? А господа депутаты вотировали изгнание всех принцев поголовно… О, если бы Гамбетта был жив!..

Четверг, 18 января 1883 г., Пятница, 19 января 1883 г.

Я выбиваюсь из сил в работе над этой рукой, стараюсь ее написать так, чтоб уж не нужно было никаких поправок, — и не могу. Я изнемогаю от этих усилий.

Что я приготовлю для Салона?

Портрет Дины и крошки Пейрони? Но до выставки осталось всего два месяца… Можно в отчаяние прийти!..

Я боюсь, что не выполню того, над чем я начала работать… Если даже я буду работать с остервенением, все равно ничего не выйдет… Я измучилась, устала от этой работы, но я хочу ее окончить, я должна продолжать.

Неудачные дни причиняют мне муки совести и до того возбуждают меня, что я не могу спать. Я вынуждена принимать разные наркотические средства, чтобы уснуть.

С такими людьми, как доктор, Эмиль Бастиен, Жюлиан я чувствую себя хорошо, свободно. Беседуя с ними, я высказываю интересные мысли, верность которых поражает меня самое… С ними у меня всегда происходит живой обмен мыслей, с ними у меня всегда есть какая-нибудь интересная тема для разговора… Я уверена, что точно так же я чувствовала бы себя в том образованном обществе, которое собирается теперь хотя бы у госпожи Адан. Оно мне так нравится; оно такое блестящее, живет такой кипучей жизнью… А у нас? С кем бы я стала разговаривать у нас? С нашими жалкими светскими кавалерами? Но с ними можно разве только провальсировать несколько минут, обменяться парой банальных фраз, ответить на комплементы… Ну, а затем?.. Нет, судьба не балует меня…

Вторник, 23 января 1883 г.

Вчера я в кровати стояла на коленях, моля Бога совершить чудо.

Клемансо произнес обширную речь об избираемости судей… Как Гольбейн в живописи, он обладает способностью необыкновенно сжато и ясно излагать свои мысли. Просто трудно уследить за этой удивительно стройной логикой… Что касается меня, то я — эклектик. Мне мало одной логики, я могу восхищаться только красноречием… Но хотя у Клемансо и нет гениальности и богатства речи Гамбетты, он тем не менее может заставить восхищаться собой; этот недостаток он искупает другими сторонами своего красноречия… менее, конечно, захватывающими… Да, о нем можно сказать, что он представляет собой величину крупную. Он силен своей неумолимой логикой, он беспощаден, яростен, несокрушим, отвлеченно-метафизичен… Но во все он вносит искреннюю страсть.

Его, конечно, нельзя сравнивать с Гамбеттой. В нем нет той полноты, того богатства и той возвышенной простоты, которой отличался Гамбетта. Но как бы там ни было, этот математический ум, холодно нервный и в то же время яростный, все-таки единственный наследник Гамбетты, в гибком и всеобъемлющем гении которого так счастливо сливался художник и государственный человек.

25 января.

Портрет Дины мне решительно не удается. Она сделала все, что могла, когда позировала. Но в ее позе столько небрежности! А с этим бороться положительно невозможно. Я прихожу в отчаяние…

Достаточно уже одного того, что мне приходится столько бороться со своим невежеством и неспособностью к работе! Когда что-либо не удается, но знаешь, что сделала все, что в твоих силах, то не чувствуешь, по крайней мере, такой горечи. Но создать какую-нибудь посредственную вещь и сознавать при этом, что способна на лучшее, что это лучшее тебе все-таки не удается, что никто, кроме тебя самой, не виноват в этом… вот от чего можно прийти в бешенство!

Я возьму модель, снова примусь за работу и ручаюсь вам, что окончу ее в неделю.

Но не в этом, собственно, дело… Дело в том, что всякая борьба бесполезна, и ничто мне не поможет, — вот разгадка всей моей жизни…

26 января.

Сегодня вечером мы у Каншиных, которые были у нас уже три раза. У них по воскресеньям приемные дни. Они русские, и я решаюсь принести эту жертву — выходить из дому. К счастью, там не танцевали; все время разговаривали и какая-то дама пела, когда пили чай. Госпожа Каншина сейчас же познакомила меня с двумя знаменитыми старцами — Молинари и Тейксье, а сама ушла, оставив их на моем попечении. Она, очевидно, решила, что такая «выдающаяся» женщина, как я, приятно проведет время в обществе этих знаменитостей. А эта «выдающаяся» женщина только и знает, и то чрезвычайно смутно, что Молинари — писатель; что же касается Тейксье, то о нем я *решительно ничего* не знаю. В этом я могу сознаться здесь, на этих страницах.

Сознаюсь, мне нужно было усиленно следить за собой, чтобы не наговорить глупостей: ведь я ничего, ничего, решительно ничего не знала о моих старцах. Но мое тщеславие помогло мне, и я выпуталась из этого положения: слишком уж сильно было во

мне желание, чтобы весь этот салон видел меня в серьезной беседе с знаменитыми людьми…

Понедельник, 29 января 1883 г.

Сегодня в палате депутатов обсуждался вопрос об изгнании… принцев. Попасть туда было чрезвычайно трудно, была масса народа. После неимоверных усилий депутату Гайяру удалось все-таки провести нас в палату, за что я после заседания послала цветы его прелестной жене.

Ораторов не было… Флоке слишком претенциозен, говорит он плохо, но именно он помог мне найти довод, который был мне необходим для того, чтобы оправдать необходимость изгнания.

«Нельзя терпеть у себя людей», сказал он, «которые заведомо не подчиняются воле всей нации, — людей, которые признают нечто высшее, чем желание всего народа, и провозглашают первенство своего права».

В общем я довольно хорошо видела и слышала все. Видела я, между прочим, и Поля де-Кассаньяка. Там в зале, он показался мне уродливым, но когда я уходила, он мне уже снова казался прекрасным. Он все время молчал и оставался спокойным. Мне кажется, что он меня заметил. Я смотрела на него, как и на всех остальных депутатов… может быть, чуточку больше. Мне даже показалось, что он часто посматривает на меня в бинокль. Боюсь, что я невольно сделала несколько знаков одобрения, но я так довольна, что чувствую себя республиканкой и сознаю причины, по которым я стала республиканкой…

Следовало бы украсить трибуну траурным крепом… Бриссон председательствовал. Я очень люблю его с тех пор, как он произнес речь о Гамбетте…

Он был прав: «мы не услышим более того героического напева, который составлял поэзию нашей борьбы в течение пятнадцати лет…»

Клемансо не говорил… В семь часов мы ушли в сопровождении члена турецкого посольства Миссака…

У меня какое-то грустное, беспокойное настроение, мне все кажется, что меня ждет какое-то несчастье…

Вторник, 30 января 1883 г.

Не знаю, что именно случилось, но я ожила… Я нашла, я знаю, за какую картину я должна взяться… Я полагаю, что вообще невозможно долго оставаться под давлением такой тоски. Успокоение должно наступить, хотя бы просто потому, что я молода, потому что я думаю о новой работе, о новых картинах, или в силу простой реакции после прежней печали. Моя

«знаменитая» картина снова захватила меня всю целиком. Я уже сгораю от нетерпения, хотелось бы скорее дождаться лета, чтобы иметь возможность работать над нею… Это будет прекрасно… чудесно!..

Это несправедливо в конце концов! Почему?

«Если небо — глухая пустыня, то мы никого не оскорбляем. Если же оно нас слышит, то пусть оно сжалится над нами».

Так сжалься надо мной, прекрати эти преследования… избавь меня от неудач, которые я терплю даже в мелочах!..

Я очень хотела бы иметь возможность благодарить Бога… Это было бы так прекрасно… Я чувствую такую потребность верить!.. В Бога верят и счастливые, и те несчастные, у которых осталась хоть тень надежды… Тот день, когда теряешь веру… как ужасен должен быть такой день!..

Но есть люди довольно счастливые и равнодушные, которые отрицают все…

Говоря откровенно, я не способна на это. Я думаю, что неверующие лгут, — они ничего не знают. Я скорее предпочитаю верить во что-нибудь и надеяться на возможное утешение, чем знать, что в будущем меня ожидает ужасное ничто… Что было бы с нами, если бы у нас не было этой высшей надежды, этого последнего убежища?.. Преклонять по вечерам колени, жаловаться, молиться и надеяться на лучшее будущее… Верить и думать, что наши желания могут повлиять на ход событий… Да это почти…

Среда, 31 января 1883 г.

Я хотела послушать предсказание Жакоб и пошла к ней, переодетая и загримированная брюнеткой, чтобы меня не узнали… Мы пошли к ней вдвоем с Диной.

Она сказала мне, что я буду счастлива, очень счастлива, что я добьюсь огромного успеха на том поприще, которое изберу. Она прибавила еще, что я иногда болею, что у меня, должно быть, болят глаза и уши, советовала беречь себя. Между прочим она сказала, что я буду любить женатого человека.

Кроме того она предсказала мне, что какие-то дела заставят меня уехать, что я буду переезжать через моря и буду иметь огромный успех. И много денег… Много мужчин влюблены в меня…

Четверг, 1 февраля 1883 г.

Я была на выставке акварелистов. Весь мой костюм был из серого бархата — и платье, и шляпа. Серые чулки и башмаки. Корсаж задрапирован и застегнут двумя серебряными пряжками.

Кружевное жабо… Как только я вошла, на меня обратили внимание и все время на меня много смотрели… Поэтому и лицо мое так сияло… Это так приятно…

Небо послало мне в награду чудный вечер… Прежде всего я видела Сен-Марсо… Я столько раз и безуспешно приглашала его к нам, что была скорее холодна, разговаривая с ним. Я никак не могла отделаться от того внутреннего волнения, которое вызывает во мне этот великий художник с головой Шекспира. Он был любезен, даже скорее ласков. У меня такое сильное желание покорить его! Зачем?.. А, понимаю, потому что он страшно много работает, очень редко бывает в свете… Я понимаю его. Вы скажете, что я делаю глупости? Но ведь это доставляет мне истинное наслаждение…

— Вы, понимаете, что я вас больше не буду приглашать к нам…

— Может быть, для того, чтобы я приходил к вам без приглашения…

— Посмотрим…

Подошел и Бастиен, — такой милый, любезный.

Я никогда не видела его таким и была очень удивлена. На меня словно упал блестящий луч солнца…

Я мигом ожила, почувствовала уверенность в себе, мне стало так весело, так хорошо…

А у меня еще было намерение удалиться после того, как мы обменялись несколькими словами!.. Мне казалось, что этого требовало мое достоинство… Клянусь вам, он меня почти насильно удержал. Мы поговорили еще несколько минут. Он был болен. Теперь он очень бледен. Какой у него утомленный вид, полный какой-то детской грусти!..

Он сказал, что очень хотел бы приходить к нам, если бы ему позволяли рано уходить домой. А я думала, что он будет сердиться на меня.

Когда я отошла немного, я увидела архитектора. Он сказал мне, что написал мне длинное письмо, в котором просил разрешения прийти к нам с братом, ссылаясь на то, что мы дали ему на это позволение…

— Я не нуждаюсь в вас, я только что видела *его самого.*

— Но я хочу привести его к вам.

— Отныне я постараюсь устроить так, чтобы он сам себя приводил…

Я довольна.

Я еще охотно осталась бы… чтобы снова увидеть Сен-Марсо. Но надо было идти на заседание палаты. Там должны были вотировать изгнание принцев или что-то в этом роде… Заседание

затянется, вероятно, до двух часов ночи… Вы понимаете, конечно, что мы пошли туда. Я думала о Сен-Марсо, о том, что он как будто совсем не видел меня, когда разговаривал со мною… Я думала о Бастиен Лепаже, который так хорошо смотрел на меня… казалось, что глаза его не могут оторваться от меня… вы меня понимаете… Но быть может, мне это показалось? А почему бы и нет? Ведь я хороша!

Подумайте, какое счастье для бедных депутатов, которые около одиннадцати часов вечера увидели четырех, столь элегантных дам! Мы попросили Поля Леру, Руа де-Лулея, Гавини, Жолибуа и некоторых других, и нас пропустили в президентскую ложу…

Блестящие речи уже закончены. Приступили к баллотировке. Тут произнесли еще две речи; одну из них сказал Мадье де-Монтье. Мне очень нравится этот старый республиканец. Заседание окончилось в полночь… Вотировали закон Фабра… Глупо!.. Изгнать или требовать отречения… Не в этом, однако, заключался «гвоздь» вечера… Я была в восторге… Досадно только, что Кассаньяк меня, кажется, не видел. Я хотела бы показаться перед ним во всем блеске…

Ведь и до сих пор он единственный… Да, в нем будущее.

Ему только 39 лет, в декабре ему минет 40… Можно еще подождать… Какой хороший был вечер… И искусство, и политика, и знаменитые люди… Я вернулась домой вне себя от радости… Такою я бывала когда-то, когда мне случалось приходить в восторг без всякой видимой причины…

Пятница, 2 февраля 1883 г. Улица Ампер, 30.

Состоялся роскошный званый обед в квартире по улице Ампер, 30. Явилась баронесса де-Жанзэ, госпожа и господа Гавини, принцесса Бонапарт де-Вильнёв, графиня Дюко, маркиз Вильнёв, де-Морган, де-Монгомери, принц Алексей Михайлович Карагеоргиевич, Эрнстов, барон Нерво, Каролюс Дюран. Было множество сверкающих белизной плеч, бриллиантов, цветов. Нужно ли говорить о том, что Каролюс по прежнему восхитителен. За обедом я сидела между ним и Нерво, который нашел меня красивой сегодня вечером… Он страдает особой манией: всюду ему хочется видеть шик. На мне было легкое белое муслиновое платье, ниспадавшее мягкими складками. Спущенную косу я обвила белой лентой. Мой костюм дополняли бледно-розовые ботинки и розы у корсажа. Каролюс сказал, что наконец-то он видит меня снова такою, какою видел в первый раз, — с той только разницей, что теперь прежняя гордая и своенравная девочка кажется более мягкой и снисходительной.

Должно быть, я была высокомерна пять лет назад, мрачна в прошлом году, а теперь я окружена сиянием… Как он любезен! Это прямо неоценимый человек, — он душа общества. Когда поднялись на верх, в мастерскую, он оживлял всех своими песнями и игрой на гитаре. Сегодня вечером уголок под нашей пальмой сияет, и я даю себе слово сделать его знаменитым. После обеда пришло еще несколько человек… Госпожа Рандуэн пела с Каролюсом, Монгомери играла на пианино. Все это было живописно и элегантно…

М. добрый малый. К тому же он много льстит мне, говоря о моей даровитости, о моем таланте, об искусстве… Я смотрю на жизнь с возвышения. Я хочу, чтобы все было прекрасно, честно и благородно… Он утверждает, что я права.

Мама и тетя одеты прелестно. Дина похудела и поразительно хороша. Художники восхищаются ее китайскими глазами, ее полными губами. Я напишу для Салона портрет этой Милосской Венеры во вкусе Рубенса, или, лучше, во вкусе Рембрандта…

Воскресенье, 4 февраля 1883 г., Понедельник, 5 февраля 1883 г.

Третьего дня меня охватила сильная тоска и полный упадок духа. Я нуждаюсь в утешении. Мне хотелось плакать, жаловаться, мне хотелось, чтобы кто-нибудь своим словом успокоил кипевшее во мне негодование… И единственным подходящим человеком оказался бы Г. Это, наконец, нелепо. Я живу воображением. Я создаю себе какую-то вымышленную жизнь, где совершаются какие-то вымышленные события, — и во всем этом я отлично отдаю себе отчет. И все-таки живу так, как будто это и есть настоящая действительность… Этот человек внушает мне такое нежное и чистое чувство, что я начинаю себя спрашивать, не это ли именно и называется любовью?

Мы были на танцевальном утре у госпожи Шарет. Я была страшно зла, потому что пошла туда в шляпке и в бархатном платье, тогда как все молодые девушки были в бальных нарядах.

Это одна из тех глупых и обидных ошибок, от которых можно прийти в бешенство.

Через полчаса мы уехали, чтобы переменить туалет. Но когда мы вернулись, было уже слишком поздно: котильон кончался.

Там был «весь Париж». Тот чисто аристократический, роялистский Париж, которым все так интересуются в данный момент.

В фигурах котильона употребляли картонные кинжалы, в насмешку над теми роялистскими кинжалами, которые открыл «Intransigeant».

Мне не везет. Меня, правда, видели в этом шикарном обществе, но видели меня недовольной, расстроенной.

Все-таки я была вознаграждена…

За час до этого я отнесла Тони головку, которую нарисовала два дня тому назад, вместе с эскизом для Салона. И то, и другое ему очень понравилось. Он сказал мне, что сюжет счастливо выбран, советовал не колебаться и непременно обработать этот сюжет для Салона… Вообще, он наговорил мне много лестного…

Опять новость — к госпоже Гавини приходили справляться обо мне: кто-то хочет сделать мне предложение, во первых потому, что я хороша, во вторых потому, что я чрезвычайно умна, в третьих потому, что во мне нет ни капли кокетства. Последнее, действительно, верно: я смеюсь над всеми этими господами, мои мысли заняты совсем другим…

Мама согласилась бы выдать меня замуж, — хоть сейчас… Это вполне естественно… Я заметила, что после горячих молитв у меня всегда является какая-нибудь новая неприятность… Но это меня не останавливает. Я предпочитаю молиться просто потому, что это успокаивает, утешает меня… Не будь у меня молитвы… да, нет, это хуже чем умереть!..

Я не говорю, что нужно быть религиозной. Я нахожу только, что необходимо иметь Бога, Бога, который обо всем заботится и выслушивает меня, который испытывает меня и когда-нибудь сжалится надо мной.

Наконец я хочу молиться потому, что молитва для меня — это своего рода протест.

Воскресенье, 11 февраля 1883 г.

Я переменила полотно и снова начинаю писать. Я провела в церкви два часа. Скорее за картину! Полотно, начатое в среду, никуда не годится. Вчера вечером я снова взялась за работу, дело, кажется, пойдет на лад. Я уже говорила, что моя картина — два мальчика, которые направляются в школу. Они держатся за руки. Одному из них нет еще 6 лет, другому только что исполнилось 4 года.

Жан и Жак М. Башкирцевой (картина находится в Люксембургском музее).

Четверг, 15 февраля 1883 г.

Сегодня целый день меня не было дома, с 10 часов утра до 7 вечера. Утром я пошла с госпожой Гавини к Каролюсу. Вот истинный художник! В его мастерской сразу переносишься в XVI век, в век ренессанса. Наши платья не гармонировали с квартирой этого милого… позера. Я называю его так потому, что именно так чернь называет людей, которые не похожи на других. Я

благодарна ему за то, что он показал нам свою мастерскую, дух которой еще больше, чем обстановка, переносят нас в далекую, столь пленяющую нас эпоху. Благодарна и за то, что имела случай ближе заглянуть в его собственный столь интересный внутренний мир…

Мы завтракали с Гавини, Сент-Аманом и Нерво.

Потом я поехала на совещания с Вортом и Дусэ. В результате совещаний… заказ трех платьев.

Пятница, 16 февраля 1883 г.

Герцогиня Шольн, урожденная Голицина, умерла в нищете. Ей было всего 25 лет.

Какой гений — этот Бальзак! Я читала историю этой женщины или что-то похожее на это… Он касался всего, он изображал всевозможные типы, всевозможные явления жизни, — ничего не оставалось незамеченным.

Какие произведения, какой гений!..

В скором времени появится том стихотворений модного поэта Роллина. Мне так живо представляются все эти литературные невзгоды, дебюты, журналистика…

6 октября 1883 г.

Только что написала Тонни Флери:

«Дорогой учитель!

Мне следовало бы радоваться, услышав Ваш отзыв о моей картине. А между тем я почти недовольна! Только не думайте, ради Бога, что я скромничаю! Я говорю совершенно искренно. Мне хотелось бы убедить вас в том, что я заслуживаю полной откровенности, что я не ошибаюсь на счет себя и что я способна выслушивать самую жестокую правду, так как твердо убеждена, что наступит день, когда я буду заслуживать и лестной правды. Впрочем Ваше тонкое чутье истинно великого художника поможет Вам понять мое строгое отношение к себе. Имею ли я право смягчить эту строгость? Да, если Ваше мнение строго справедливо. Вы сказали: «хорошо», а о некоторых деталях — даже «очень хорошо». Но ведь это очень растяжимое понятие. Что значит хорошо? Сравнительно с кем и с чем? Я не хочу этого относительного одобрения, — для меня оно не имеет ровно никакого значения. Что сказали бы Вы, если бы увидели эту картину в Салоне? Нашли ли бы Вы ее хотя бы «удовлетворительной», если бы автор картины был Вам неизвестен?

Вы, быть может, и не откажетесь от своих слов относительно данной картины, но я прошу Вас не быть снисходительным в

будущем. Я этого требую у Вас во имя того чувства дружбы, которое Вы питаете к вашей гордой собой ученице.

Мария Башкирцева».

Что мне ответит Флери? Если моя картина хороша, я буду горячо благодарна Богу. Благословение старого петербургского архимандрита, пославшего мне икону Богоматери, принесло мне, значит, счастье. Но если бы даже Флери и другие сказали «отлично», то и тогда я не чувствовала бы себя счастливой, так как это не максимум того, что в моих силах.

Воскресенье, 7 октября 1883 г.

Сегодня впервые показалась луна. Когда я заметила ее, она оказалась налево от меня, и я была очень огорчена. Неправда ли, какое банальное, пошлое суеверие? Но почему оно пошлое? — спрошу я, — ведь и Наполеон и Цезарь были суеверны, если уж ограничиться только этими двумя знаменитостями!.

Совещание М. Башкирцевой (картина находится в Люксембургском музее).

Понедельник, 8 октября 1883 г.

Жюлиан находит, что портрет Б. «tres chic». Он сказал мне по этому поводу: «Все найдут его прекрасным, но так как ваш идеал — Бастиен Лепаж, то старайтесь, как он, в совершенстве передавать даже каждую деталь, Напрягите все ваши силы и добивайтесь результатов законченных, исключительных. Иначе было бы жаль. Оставьте этот портрет пока. А весною доставьте себе удовольствие заняться частичной отделкой его, работайте над ним до тех пор, пока ничего не останется добавлять».

Этот Жюлиан почти так же требователен, как и я!

Пришел Робер Флери, Б. также остался, и мы обедаем все вместе.

Жюлиан мне сообщил, что недавно умер дедушка Бастиена Лепажа. Это тот самый дедушка, за портрет которого он получил медаль в 1874 г., когда впервые выступил. Это дебют в свое время наделал много шума.

Четверг, 11 октября 1883 г.

Вчера мы были у Г. Они уже потеряли всякую надежду уговорить меня, чтобы я осчастливила собою какого-нибудь обворожительного французика, и теперь они уже хотят выдать меня замуж за какого-нибудь иностранного принца.

— Выходите замуж, но знайте, что если вы получите трон, благодаря своему мужу, то вы должны будете бросить свое искусство.

— Королева румынская художница и писательница, — ответила я.

Считая, что это единственный способ заставить их хотя бы в мыслях примириться с искусством и упорной работой над ним, я подробно познакомила их с трудами и работами королевы. Вот они, — светские люди! Господи, как все это невыносимо! Неужели я настолько выше этих людей? Ну, это неважно, — но их предложения раздражают меня. Я страдала бы, если бы Бастиен-Лепаж женился, но это было бы лишь страдание в воображении.

Почему мы скорее завоевываем любовь тех, к кому мы относимся совершенно равнодушно, чем любовь тех, кого мы сами любим?

Я думаю, это происходит оттого, что на тех, к кому мы равнодушны, мы просто не обращаем никакого внимания, между тем, как с людьми, которыми мы дорожим, мы делаемся робкими и теряем тот уверенный, импонирующий вид, который так властен над людьми. Да, наконец, почти всегда мы привлекаем к себе человека случайно, когда меньше всего думаем об этом.

Я твердо решилась выдерживать характер, не поступать так, как поступала до сих пор. Часто случалось, что из деликатности я удерживалась от ответа, который так и напрашивался на уста. Мне кажется, что, за исключением крайних случаев, нужно избегать всего, что может причинить другому хоть малейшую неприятность. Я считаю даже недостатком вежливости всякое резкое противоречие. Но эта вежливость часто вынуждает нас выслушивать нелепости только потому, что она не позволяет нам оспаривать их.

Да, все эти прекрасные чувства были бы уместны, если бы их испытывали хоть тридцать человек из нашего общества. Но ведь

только очень немногие из окружающих меня думают так, как я. И если бы я была ангельски добра, то прослыла бы за человека, которому можно сесть на голову.

С некоторых пор я нахожу, что необходимо показывать свои познания, необходимо цитировать авторов, делать экскурсии в область науки. Между тем до сих пор мне казалось до такой степени естественным быть в известной мере образованной, что я об этом не говорила. Зачем я написала все это?

13 и 14 октября 1883 г.

Сегодня я была занята целый день. В 7 часов утра мы уехали в Жуй и гуляли там в лесу. Я поправляла портрет Луи, разговаривала, играла в крокет. Медонский лес восхитителен при солнечном освещении; лучи солнца, пробиваясь сквозь туман, делают его золотым. Как хороша природа!

Я вернулась домой только для того, чтобы переодеться к ужину, куда нас пригласили. Там будет много народу. Я долго занималась своей прической, уложив на этот раз волосы естественно-вьющейся короной и оставив лоб совершенно открытым. Я и не подозревала своей красоты, всего благородства этого великолепного лба! Эта прическа придавала мне совсем другой вид, мне можно было дать 15 лет, чему способствовала какая-то особая девственная чистота лба, который обыкновенно маскируется прической. Я казалась самой себе необыкновенно чистой. Мне чудилось, что я священнодействую, что я смотрю с высоты какого-то трона. Такое сознание придает всем движениям человека особую кротость, особенный вид спокойствия и силы.

Я сияла свежестью и чистотой, но там не было никого, кто интересовал бы меня. А я по опыту знаю, что можно быть красивой, *когда хочешь этого.* Сели играть в карты. У меня счастливая рука, и я сдавала карты до одури, до отупения. Все боролись со скукой доступными им средствами. Я же переходила от одной группы к другой и, видя всех занятыми, стала раскладывать пасьянс. Это глупо, но пасьянс повышает, усиливает течение мыслей и дум. Необходимо, чтобы какое-нибудь имя перемалывалось в этой огромной мельнице, которую я ношу на своих плечах. Я чувствую потребность думать о ком-нибудь.

Вторник, 16 октября 1883 г.

Я случайно прочла несколько страниц из моей жизни за 1880 год и вижу, что теперь я гораздо счастливее. Это удивительно, но в сравнении с тем временем, и даже без всякого сравнения, у меня теперь нет никаких тревог, я спокойна.

А тогда! Целые дни я плакала и убивалась, — и из за чего!

Теперь все это кажется мне совершенно ничтожным. Наше положение улучшилось. О, да, я чувствую себя теперь хорошо и благодарна за это Богу.

Среда, 18 октября 1883 г.

Сегодня я начинаю работать над моделью для своей статуи, работаю я, как первобытный человек — я вынуждена изобретать средства.

Я страшно боюсь заболеть. Мне трудно дышать, я чувствую, что слабею и худею.

Так вот она, эта ужасная болезнь!

У меня *чахотка*.

Хотела бы я, чтобы все это было только игрой моего воображения… но, увы! Нужно будет поехать на юг… Как все это горько и досадно!..

Я провела два ужасных часа без всякой видимой причины. Нечто подобное должен испытывать приговоренный к смерти. В гостиной горела только одна лампа. Мама работала, Дина зевала, и только тетя время от времени проходила по комнате. Все они тихо обменивались по временам несколькими словами и снова умолкали. Во всем этом, казалось бы, не было ничего особенного, но мне оно казалось подавляющим, мрачным. Мне казалось, что я где-то в глухой русской деревне, далеко от Парижа, что меня ждет какое-то несчастье. Глядя на меня со стороны, можно было подумать, что я спокойно читаю, а я все время не переставала думать о смерти… Но довольно! вы никогда больше не услышите от меня жалоб ни на эти затаенные горькие думы, ни по поводу других неприятностей.

Что делать!

Я предчувствую что-то ужасное, не знаю только, что именно. Все может случиться… Я буду молиться.

20 октября 1883 г.

Если бы мне было шестнадцать лет, можно было бы сказать, что это просто те неопределенно-грустные настроения, которые свойственны всем девушкам этого возраста. Но это не то. Я похожа на человека, вынувшего жребий.

Пожалуйста, милые и дорогие французы, — не считайте меня по сему случаю суеверной восточной женщиной, славянкой, и т. д.; не приписывайте мне всего того, что вы вообще приписываете всем иностранкам, которые не похожи на вас. Если я говорю о «несчастном жребии» и других фантастических вещах, то только потому, что мне это кажется забавным или выразительным. И если бы я родилась не в России, а на

Монмартре, и называлась бы Марией Дюран или Ирмой Пошар, дело от этого не изменилось бы.

Возможно, что французский язык, на котором я пишу, мало похож на французский. Если бы я следила за собой, я могла бы писать очень правильно. Но мне кажется, что иные несвязные беглые мысли именно и требуют этой наивности выражения.

Я уже совершенно избавилась от своей мрачной тоски… Конечно, если бы я вылечилась, я обезумела бы от радости. Но не сознание, что я больна, причиняет мне страдания, — перед этим несчастьем я смирилась.

Да, мой Господь!.. Я смирилась, я принимаю эту жизнь, как она есть — с огромным черным пятном. Не отягощай же ее! Прояви ко мне свое милосердие!..

Я живу одним только воображением. Судите сами: когда я встречаюсь с Бастиеном Лепажем, я думаю, что он мне нравится; но на другой же день это проходит. Несколько дней спустя я ловлю себя на том, что уже даже и не думаю о нем, — ни одной минуты.

Но если я о нем не буду думать, так о ком же? Уверяю вас, мне просто необходим какой-нибудь объект для мечтаний, которые усыпляют меня. Другого значения эти мечты не имеют, — и ни о какой истинной любви и речи быть не может.

4 ноября, 1883 г.

Из церкви мы пошли к Г. Смешно, но мне кажется, что я нравлюсь Г. Может быть, он любит меня по своему? Это прелестный юноша, но что же я с ним сделаю? Я не люблю его, у меня даже нет желания поцеловать его. Обыкновенно спрашиваешь себя, закрыв при этом глаза, могла ли бы я поцеловать такого-то? И ни он, ни кто другой ничего не говорят мне…

Тем не менее мне хотелось бы пококетничать с ним… Но я слишком честна для этого. Я убеждена, что мне было бы легко влюбить его в себя. Ну, а потом? Нет, — это причинило бы ему слишком много огорчений.

Мне казалось, что великий князь смотрел на меня. Пожалуйста, без восклицаний!.. Я заглянула в эдмондовскую книгу предсказаний. Она посулила мне впереди тысячу огорчений всякого рода, но тут же утешила меня, что в конце концов я добьюсь всего, за что ни возьмусь, что бы ни случилось и каковы бы ни были отдельные минуты отчаяния.

5 ноября.

С тех пор, как я шью себе платья в Париже, я борюсь с

глупыми и неуклюжими модами. Пять лет тому назад я требовала, чтобы драпировали корсажи, делали бы их открытыми, в стиле Людовика XV или древней мифологии. Иногда я требовала, чтобы платья шились по образцу древнееврейскому. Меня считали поэтому эксцентричной. Но так как я по целым часам твердила об этом Ворту, Дусе и Лаферьер, то моя мода привилась. Вот уже два года, как только и видишь, что драпировки, жабо, косынки. Самые известные фасоны у Дюсе — мое изобретение. И ни одно из них не носит моего имени!..

Вторник, 6 ноября.

Эмиль Бастиен сказал мне, что его брат болен, — болен потому, что мало занимался живописью в этом году. Совсем как я, значит!.. Я показала Эмилю Бастиену моих «Гаменов», и едва осмеливаюсь передать, что он сказал. Он уверял меня, что я наверное получу медаль, что многие, даже первоклассные художники, не обработали бы так сюжета, что, глядя на эту картинку никому не придет в голову, что это произведение молодой девушки. Он называл картину произведением художника мыслящего, наблюдательного, сильно любящего природу… Одним словом, я превзошла все надежды, какие он возлагал на меня. «Но будьте осторожны», прибавил он: «теперь наступает критический момент. Картина будет иметь большой успех, но смотрите, не опьяняйтесь успехом. Было бы очень жаль, если бы это случилось!»

Тут я рассмеялась и сказала ему, что мое честолюбие так велико, что опьянить меня мог бы разве только успех колоссальных размеров.

Пятница, 16 ноября.

Я приехала в Жуй к жене маршала Канробера. Рассчитывала писать здесь виды, но льет такой дождь и так холодно, что мы с Клэр, как прикованные, сидим у камина и греемся после первой же попытки выйти на улицу.

Я занята теперь чтением одного очерка о Шопене, Листе и Паганини. Вот вам художники, у которых герцогини и княгини целовали руки. Это художники-короли, художники-боги! К их числу принадлежал и Вагнер.

Вот как! я, значит, чувствительна к подобного рода великосветской, шумной и *шикарной славе*?..

Нет, но я требую, чтобы гения сопровождала и *такая* слава, потому что гений должен наслаждаться всеми родами музыки, всевозможными цветами, всеми видами фимиама.

Истинную ценность жизнь приобретает в моих глазах только

тогда, когда она поднимается на высоту такого всеобщего поклонения.

Молю тебя, Господи! Помоги мне остаться независимой, дай мне возможность работать, дай мне настоящую, истинную славу!

Вторник, 20 ноября 1883 г.

Я, наконец, увидела этого высокопоставленного чижика, которого прочат мне в мужья. Этот «aurea mediocritas»[10] наводит на меня скуку. Он в своем роде хорош настолько, насколько это возможно. Мне даже кажется, что он добр, Но… эта птица не для меня, — и прибавлю «к несчастью».

Как хорошо было бы быть красивой и глупой! Если бы у меня была дочь, я желала бы ей быть красивой и глупой и иметь про запас несколько строгих правил, чтобы не погубить себя.

Хотелось бы мне знать, какое впечатление производит чтение этого дневника… Можно ли сказать, читая его, что он написан выдающейся женщиной, которая в обществе любезно и покровительственно относится ко всем, а сама вечно страдает от тех глупостей и банальностей, которые она вынуждена выслушивать?

Возьмите две бутылки, совершенно сходные по внешнему виду. Но одна оказывается тяжелой; другая легкой, пустой. Вы не подозревали такой разницы в весе, и когда вы берете их в руки, вы испытываете какое-то своеобразное изумление. Вот именно такое изумление испытываю я, когда сравниваю людей, которых я вижу перед собой, с теми людьми, которых создаю своей фантазией…

26 ноября, 1883 г.

Сказать ли по секрету? Я заметно начинаю становиться высокого мнения о себе. Мое поведение становится похожим на поведение человека крупного таланта. Я наивно горда и спокойна, как человек, сознающий свои силы; я снисходительно равнодушна, как все высшие умы. Я говорю с людьми в том спокойном тоне, который как бы говорит: «можете навещать меня, если хотите… но не слишком». Сама же я остаюсь на высоте, на той высоте, на которую меня влекут мои занятия… В глубине души я смеюсь над собой, но все же я притворяюсь, будто верю тому, что это так. Иногда я, действительно, чувствую, что живу так, как кажется, должны жить гениальные люди.

Среда, 28 ноября.

Жюлиан мне передавал, что Бреслан говорила ему обо мне, когда была у него.

Как я буду стараться над этой картиной! Что может быть выше искусства и славы? Быть знаменитой!.. Никакая логика событий, никакие муки подготовительного труда, — ничто не сможет ослабить безумной радости того момента, когда я добьюсь успеха… настоящего, большого успеха. Тогда… тогда я сама буду своим Бастиен Лепажем…

Воскресенье, 2 декабря 1883 г.

В четверг у нас была госпожа Берто и пригласила меня на сегодняшнее собрание женщин-художниц и скульпторов. Дело идет о нашей будущей выставке.

Я читаю «Любовь» Стендаля. Там есть вещи, страшные в своей жизненной правде. Одна из глав словно специально посвящена некоторым чертам моего собственного характера. В ней «слишком пылкая душа» расточает свои чувства с той слепой доверчивостью, которая не выжидает, а, наоборот, сама идет на встречу.

«Они видят вещи не такими, каковы они бывают в действительности, а такими, какими их создает их собственное воображение. Наслаждаясь этими созданиями своего воображения, они, в сущности, наслаждаются самими собою. Но в один прекрасный день такая пылкая душа чувствует себя утомленной, и тогда оказывается, что ее кумир не стоил потраченных на него сил. Очарование исчезает, и оскорбленное самолюбие делает ее несправедливой: то, что так сильно переоценивалось, теряет уже всякую цену».

Нет, я не люблю его настоящей любовью… я чувствую, что это еще не то…

«Если вы станете растрачивать себя на слова, на шутки, на восторги по адресу Ж. и Р. — сказал мне рассудительный архитектор, — то вы будете наносить ущерб вашему искусству».

О, великий архитектор! Агент первого из человеческих искусств! Да, ты прав! Поэтому я буду отдавать этим созданиям своего воображения только часы досуга. Да, так оно и должно быть у занятых людей. Говорят, что Микель Анджело никогда не любил. Я это хорошо понимаю!

Я тоже способна была бы отдаться только своему искусству, любить только его, если бы мне удалось когда нибудь добиться того настоящего успеха, который придает человеку и веру и смелость.

Среда, 4 декабря 1883 г.

Я работала целый день, продолжала работать при вечернем освещении, и все-таки вышло не то, чего я добиваюсь…

Эта неудача придает мне такой же сосредоточенный, неприятный вид, какой бывает у Бастиена Лепажа. Мне это льстит, как льстило мне когда-то носить такие же юбки, какие носила Бреслан.

Собственно, это не неприятный, а равнодушный вид. Как-то не обращаешь внимания на то, что говорят вокруг тебя люди, смотришь на них, как на вещи, витаешь где-то в облаках, — и это не особенно нравится людям…

8 декабря 1883 г.

Я должна была бы записывать и отмечать все часы, проведенные за работой, чтобы не упрекать себя в безделье.

Да, я думаю, что он смеется над моей музыкой, над всеми инструментами, на которых я играю. В глубине души я я сама сентиментальна, а между тем я ежесекундно оскорбляю сентиментальные натуры своим философским и насмешливым видом…

Я смеюсь над всеми, смеюсь и над собой, но при одной мысли, что кто-нибудь может посмеяться надо мной, я прихожу в ужас!

Быть может, я никогда больше не увижу его, но эти же размышления можно отнести и к другому.

В данный момент кумиром является Ж. Его не называют по имени: для женщин это просто он, которого они жаждут увидеть…

Раньше этот он назывался П. Теперь это Ж. Потом будет Х или У… Это только краткая формула для выражения множества желаний и стремлений…

Воскресенье, 9 декабря 1883 г.

Я чувствую такой сильный подъем духа, такое стремление к чему-нибудь великому, что едва касаюсь ногами земли. Меня только ужасает мысль, что у меня не хватит времени сделать все, что я хотела бы сделать. Такое состояние, быть может, и обессиливает, но я счастлива.

Итак, мне уже не долго осталось жить. Вы ведь знаете: слишком одаренные дети наперед осуждены… Но шутки в сторону, я убеждена, что свеча сломана на четыре части и горит со всех концов. Я не хвастаюсь этим. Леонардо да Винчи делал все, но ничего не сделал в совершенстве. Микель Анджело… Но Микель Анджело не занимался скульптурой 13 лет прежде, чем взяться за первую картину. Не смейтесь над тем, что я упоминаю имена таких великих людей. Я знаю, что я ничто, я не сравниваю себя с ними, но когда для примера указываешь на Микеля

Анджело или на Леонардо да Винчи, никакие возражения немыслимы.

Среда, 22 декабря.

Когда тебя пожирает честолюбие и когда во имя его работаешь, тогда все остальное исчезает. Упорный, беспрерывный труд поглощает тебя всю целиком, и ни на что другое становишься неспособной. Что ж, — значит, художники никогда не влюбляются? Я не говорю этого: вполне законченный художник может доставлять себе эту роскошь. Но за то в то время, как он наслаждается любовью, его работа либо совсем приостанавливается, либо она близка к этому.

Суббота, 25 декабря.

Я просила Жюлиана прийти посмотреть мою статую. Эскиз ее уже готов. Он остался от нее в восхищении и наговорил мне массу слов, вроде «отлично, превосходно, захватывающе, восхитительно». Я перестаю уважать Жюлиана!

Для него все хорошо: и мой большой пейзаж, и голова Армандины, и маленькая девочка. «Сначала, — сказал он — вы работали довольно хорошо, потом очень хорошо. Теперь наступает время, когда вы будете писать отлично».

И я не схожу с ума от радости? Нисколько. Почему? — спросите вы. Да потому, что не таково мое собственное мнение о себе; потому, что я сама не очень довольна собой, — я хотела бы лучшего, большего! И не думайте, что это мучительное недовольство гения, это… ну, я не знаю, что это такое!..

26 декабря 1883 г.

Счастье вытекает из некоторой моральной и умственной близорукости. Но оно несовместимо с теми утонченными потребностями души и ума, которые должны быть врождены и приобретаются с таким большим трудом. Человек с такими развитыми вкусами страдает на тысячу ладов, между тем как заурядный человек незнаком с такими мучениями. Так страдал бы человек, который на все смотрел бы в микроскоп. Несчастный не мог бы ни есть, ни пить, ни любить…

Недостаток вкуса и такта, глупые разговоры, богато разукрашенные гостиные, жалкие картины, — все оскорбляет, раздражает, утомляет и прежде всего делает человека печальным: чутко воспринимая все возмущающее и отталкивающее, он впадает в особый род равнодушия, — равнодушие печали и смирения.

27 декабря 1883 г.

Славянской расе чего-то не хватает. Она заимствовала кое-что у всех национальностей, усвоила себе все их приемы, но… как бы это сказать? Все это она восприняла как-то на лету, бегло, частично. Славяне глупы и остроумны, вкусы их утончены и грубы. Право, не знаешь в конце концов, как их характеризовать! Ну, а я? Очевидно, я считаю себя совершенством. Иначе как же объяснить то вечное недовольство окружающим, которое я испытываю на каждом шагу? Я объясняю его тем, что, обладая всеми достоинствами, я не умею ими пользоваться. В этом отношении дело обстоит так же, как с моим талантом. Я богато одаренная натура, но все мое богатство еще не проявило себя. Однако, довольно шутить… это значит вторгаться в чужие владения.

Воскресенье, 30 декабря 1883 г.

Пришел Эмиль Бастиен. Он вернулся из Дамвилье, гле Жюль пробудет до февраля.

Я люблю только свою славу. Молю тебя, Господи! Помоги мне не разбрасываться, помоги мне сосредоточить свои силы! Я потеряла три или пять дней, — и это меня жестоко угнетает.

1884 г.

Понедельник, 7 января 1884 г.

Я работаю над портретом Дины.

В три часа заехала за мной и за Клэр жена маршала Канробера, чтобы поехать с визитом к Буланже. Этот охранитель старины бранил «неприличную» выставку Манэ, кричал, что это «возмутительно» и все повторял: «куда мы идем?!» Я поддакивала ему так удачно, что Клэр пряталась в уголку мастерской, чтобы не хохотать громко.

Мне кажется, что все кончено, что уже никто больше не полюбит меня… Впрочем, я ведь скоро умру…

Вторник, 8 января.

Только что принесли мою Навзикею, глупый рабочий сделал ее слишком большой. Я не жалуюсь, но это, наконец, утомляет. Если бы я хоть принадлежала к тем набожным людям, которые приносят свои страдания в жертву Богу в надежде на награду! Проще всего было бы не мучить никого…

Среда, 9 января.

Я снова кое-что переделала в фигуре, что на левой стороне картины, и, кажется, очень удачно. У меня даже является искушение снова вернуться к идее о карающем и награждающем Боге.

При своей разносторонней натуре я могла бы быть счастливейшим существом в мире… если бы только я хорошо слышала…[11]

Суббота, 12 января.

Мадам Канробер заезжала за мной и за Клэр. Мы отправились к Тони Робер Флери и к Лефебру. Приходится сознаться, что я была несправедлива к последнему, недостаточно ценила его талант. Теперь я увидела идеально написанные вещи. Это совершенство в смысле ясности, точности и грациозности исполнения. Я предпочитаю его манеру манере Энгра. В картинах Лефебра нет ничего неясного, туманного, — напротив, в них все дышит неумолимой, всепокоряющей точностью, а мягкость его линий буквально очаровывает. Я думаю, ему нет равного в изображении нагого человеческого тела. В его тонах нет сочности, но за то есть изящество и чарующая мягкость, в которой в то же время чувствуется огромная сила. Портреты его удивительно хороши, хотя им недостает блеска и, быть может,

некоторой доли идеализма. Но необыкновенная верность рисунка заставляет забывать обо всем… почти обо всем.

Сначала Лефебр не узнал меня. Но, как только ему сказали, кто я, он сделался чрезвычайно любезен, благодарил меня за честь, которую я оказала ему своим посещением, прибавив, что счастлив видеть меня. В ближайшее воскресенье он будет у меня в мастерской.

Сегодня вечером мы ужинали в тесном интимном кругу. По случаю нашего нового года я была вся в белом, что было мне очень к лицу.

Наконец-то год начинается для меня довольно недурно, даже можно сказать хорошо! Художники то и делают, что поощряют и одобряют меня, и я чувствовала, что окружена настоящими друзьями.

Пятница 18 января.

Сегодня мне хочется плакать. Я боюсь посмотреть на то, что нарисовала вчера, боюсь, что работа плоха, и плачу… плачу настоящими слезами. Это понятно! Я экзальтирована, как 19-летний немецкий студент. А вдобавок я не имею счастья знать тех, которые живут в сфере интересов отвлеченной науки, искусства, мысли, идеи… Мне знакома только жизнь светских людей, а из художников я знаю всего трех человек.

Я снова переделала набросок для своих «Святых жен». Да, необходимо чтобы это был настоящий вечер, чтобы чувствовалось много воздуха, чтобы тотчас же при взгляде на картину видно было, что это тот момент, когда вот-вот появится бледный месяц. И все это нужно написать широко… Я никогда не сумею этого…

Бастиен Лепаж должен был сделать 50 набросков, чтобы уловить этот эффект. Ну, так я сделаю 55 набросков! это необходимо!

Ах! так нельзя жить… это не жизнь!

Понедельник, 28 января.

В 5 часов я начала работать над новой моделью Навзикеи. А вечером я сажусь писать, хотя еще не знаю, о чем именно и в какой форме. Одно неоспоримо: мне легче управлять пером, чем кистью.

Вы понимаете, — истинный художник рисует, делает наброски, композирует бессознательно. Я тоже рисовала и была убеждена, что у меня «способность к живописи, и что наступит день, когда я сделаюсь художницей». А вместо того, у меня оказывается множество литературных набросков. Я поступала в этом случае, как человек, который ничего не знает о своем

призвании, но безотчетно повинуется ему.

Нельзя так разбрасываться… Впрочем, нет… можно рисовать, пока солнце позволяет, до обеда лепить, а потом, когда явится желание, писать.

А когда же жить?

Жить?.. Когда я буду уверена в своем таланте. Ну, а если я умру до этого времени? Я ни о чем не буду жалеть! Я обворожена и восхищена собою! И это потому, что я хорошо работала сегодня, и еще потому, что я примеряла великолепные, прелестные платья…

Что нам в конце концов нужно? раз нет возможности все переживать в действительности, остается живо и глубоко чувствовать, живя в мечтах.

Это тем более верно, что мне уже больше 20 лет, а в эти годы нас посещают уже не только мечты, но и видения… Но у меня для этого нет времени. После нескольких часов работы в стоячем положении, когда все время разминаешь глину поднятыми вверх руками, чувствуешь только одно желание — уснуть, чтобы опять приняться за то же на следующий день… Я очень счастлива.

Вторник, 29 января.

Я ездила смотреть картину Мункачи «Христос на кресте».

Отель счастливого Мункачи — настоящее чудо. Что же касается его картины… Она написана широко, колорит прекрасный, чувствуется движение, экспрессия лиц и одежд богатая, тона чудные… Христос среди двух разбойников, вокруг много людей, черное небо, светлые фигуры, которые выделяются ярко…

Но в мадридском музее я видела распятого Христа, написанного Веласкецом. Христос совершенно один… Картина производит такое сильное впечатление, что невозможно долго смотреть на нее.

Картиной Мункачи восхищаются все. Особенно хороши прекрасные тона одежд евреев. У подножия креста стоят плачущие женщины, но мне кажется… Впрочем, я подожду еще несколько дней прежде, чем окончательно высказаться. Мне показалось, что это написано недостаточно энергично, — да, может быть, так оно и есть.

Этой картине чего-то недостает, — иначе она вызывала бы прямо трепет. Глядя на нее, восхищаешься, но невольно спрашиваешь себя при этом: «почему же она не трогает меня»?

Среда, 30 января 1884 г.

Я почти ничего не сделала. Примеряла платья. У нас обедали

Клэр, Вильвейль, русский священник, принцесса и Гайяр. Я разговаривала с Гайяром о серьезных предметах, — о политике, о психологии. Остальные слушали нас, а священник изредка вмешивался в наш разговор… о политике. Мы говорили о Тонкине, о Ферри. Мне кажется, что я была очень остроумна и с должным спокойствием произносила длинные фразы, с неожиданным оборотом мысли. Этот радикальный супруг графини Z., видимо, очень серьезно относится ко мне. Но я, кажется, удивляюсь тому, что ко мне относятся серьезно… Дерзкая!..

Пятница, 1 февраля.

Я рисовала на открытом воздухе. Потом мы поехали к Канроберам и к принцессе Жанне Бонапарт. Мы застали только мать ее. Несмотря на свои 52 года, это еще очень красивая женщина с длинными, мягкими и белыми руками. Что же значит после этого происхождение? Как можете вы еще говорить о расе?

Сегодня вечером открылась выставка акварелистов. Там была огромная толпа и мало знакомых. Я страшно устала.

Суббота, 2 февраля.

Божидар Карагеоргиевич позирует для меня. Мою мастерскую посетила принцесса Жанна Бонапарт. Потом я сошла вниз к маме, — у нее сегодня приемный день. Из всех посетителей один только интересен и мил — Поль Дешанель. Это сын Дешанеля, профессора в Collège de France. Он пишет в «Débats», готовится в депутаты и играет Делонея в любительских спектаклях. Он хороший малый, очень симпатичный… У него изысканные манеры и… блестящая будущность. Как бы там ни было, я была в хорошем расположении духа, а это ведь редко бывает со мною. Мне кажется, что картина мне удается и время летит быстро.

Я пишу в постели. Завтра воскресенье, я пойду в церковь; бесполезно, следовательно, рано засыпать.

Я художница в самом широком значении этого слова: каждый художник — поэт или мечтатель.

Маленькие ночные пейзажи отлично удавались Казену. Не знаю, безрассудство ли это с моей стороны, или же, наоборот, я права, но маленькое Казеновское полотно с черной лодкой на синем небе, покрытом звездами, я решительно предпочитаю всем темным и задымленным пейзажам музейных знаменитостей. В этих музейных пейзажах невозможные деревья, полное отсутствие воздуха! Почему они попали в знаменитости? У Казена ощущаешь свежесть ночи, видишь настоящую ниццскую ночь и чувствуешь какое-то умиление, глядя на эту луну, которая вот-вот отразится в

совершенно спокойном море. Слышишь даже едва внятное легкое движение этого моря. Ах, как это великолепно!

Когда-то, много лет назад, мне приснился сон. Я видела блестящие звезды, — их было пять. Я смотрела на них и мне захотелось снять их с неба. Силою своего взгляда я заставила четыре из них упасть. Я протянула руку к пятой… Звезда оказалась посеребренной бумажкой, а небо голубым картоном. Чтобы оторвать звезду мне пришлось пустить в ход ногти… Этот сон, конечно, не имеет никакого значения. Я пишу все это просто потому, что надеюсь уснуть над своими записками, так как эти проклятые «Вифлеемские пастухи» Бастиена Лепажа не дают мне покоя…

Воскресенье, 3 февраля.

Уже около 2-х часов ночи. Я пишу в постели, только что вернувшись из итальянской оперы, где давали «Иродиаду» Массене. Я была там с женой маршала Канробера и Клер.

Первое действие поражает новизной и широтой звуков. Никогда я не слышала такой музыки. Это нечто совершенно новое, звучное и гармоничное. Да и вся опера слушается с наслаждением. Музыка сливается с поэмой, здесь нет арий и ничего не выражающих вставок между ними. Все написано широко, грандиозно и великолепно. Массене — великий художник, и отныне он гордость нации. Говорят, будто прекрасную музыку нельзя понять с первого раза. Полноте! В этой опере сразу понимаешь всю мелодичность и прелесть ее, несмотря на слишком ученую оркестровку.

В конце первого акта есть аккомпанемент изумительной красоты, — я все еще нахожусь под его влиянием. Много раз мы озирались друг на друга глазами, в которых блестели слезы восторга. Если бы эти противные зрители были искренни, они бы плакали!

С этой блестящей музыкой моя итальянская музыка не может, конечно, конкурировать. Массене — мелодичный Вагнер и притом Вагнер французский. А сам Вагнер — это незаконченный творец новой школы, которая во всяком таланте ценит жизненную правду и искусственность чувств. Такие новые школы существовали всегда. Но вот уже около 100 лет, как живопись сбилась с пути. Ее стремятся направить на верный путь, следуя заветам Манэ. Вагнер — это Манэ: вот самое подходящее сравнение. В «Иродиаде» нет мотивов любви, вопреки глупой выдумке, которая из св. Иоанна делает возлюбленного Саломеи. Я лично предпочла бы видеть его восторженным пророком, а ее — экзальтированной женщиной. Но любовь была бы все-таки

неизбежна. Я могла бы любить Иоанна… Да, Массене можно бы назвать художником «воздушного простора» в музыке. Он хочет, чтобы и в опере было много воздуха, который бы двигался и оживлял и действующие лица, и мелодии.

Среда, 6 февраля.

Я ездила к Жюлиану, чтобы показать ему портрет Рандуэн. Этот марселец был очень доволен моей работой и сказал, что я делаю все большие и большие успехи. Но не таково мое мнение об этом портрете: я презираю его. Но если и другие такого же мнения, как Жюлиан… Нет, во всяком случае я его переделаю, я постараюсь, чтобы он мне понравился.

Жюлиан меня раздражает. Он упорно твердит: «Ваше здоровье в живописи все улучшается и улучшается». Он находит, что я писала хорошо, потом опустилась вниз и затем снова поднялась вверх. Это ложь, ложь и ложь! Вот мои этюды, — проверьте!

Среда, 12 февраля.

Маршал Канробер приехал посмотреть работу своей дочери, и был немного удивлен, — но все же он в восторге. Между 4 и 5 часами я принимала m-lle Вилевьейль, которой я делала указания относительно постановки и характера ее картины. А после моей смерти все эти дамы поступят, как сотрудники Дюма-отца. Каждая из них скажет: «Это я подала ей эту мысль, это я помогла ей сделать то-то».

Что-же делать!

Пятница, 15 февраля, Суббота, 16 февраля.

Я провела чудный вечер в итальянской опере. Я была там с Г., принцессой Жанной Бонапарт и ее мужем.

Госпожа Г. нашла меня красивой, восхитительно одетой (черный бархатный корсаж, классическое декольте) и хорошо причесанной. «Ваши плечи», сказала она, — «настоящий мрамор. При первом взгляде на них уже видна раса»… Этого вполне достаточно! Ведь, мнение госпожи Г. — эхо всеобщего мнения. Но не только поэтому вечер показался мне чудным, а потому, что пел несравненный испанский тенор Гайаре. Ему устроили такую шумную овацию, что он долго будет ее помнить. Все были в восторге, даже мужчины во фраках и женщины, туго затянутые в корсеты. У него дивный голос.

19 февраля 1884 г.

Я не могу писать от бешенства и нервного истощения. После

бесчисленных трудов и хождения ощупью я нашла наконец ту позу, о которой мечтала для портрета Дины. Это была бы прекрасная картина, и мне оставалось только работать. А мне мешают! В моем распоряжении только 23 дня! Художники поймут мое отчаяние.

Четверг, 21 февраля 1884 г.

Начатая вчера голова Дины готова, остаются только детальные отделки глаз.

Сегодня за завтраком меня страшно сердили, высказывая глупости об инциденте с Мейссонье. Госпожа М. заказала Мейссонье свой портрет, который он после некоторого колебания согласился написать. Было условлено, что за портрет он получит 70.000 франков. Портрет был выставлен в Триенале, и его нашли посредственным. Тогда госпожа М. требует у Мейссонье поправок, но тот отказывается, Она грозит, что оставит портрет у художника и не уплатит ему. Мейссонье заявляет, что он будет требовать своих денег судом. В конце концов друзья госпожи М. надоумили ее: она принимает портрет и запрятывает его подальше.

И весь Париж возмущен «иностранкой»!

Мне кажется, что госпожа М. была неделикатна, показав такому художнику, как Мейссонье, свое недовольство. Не надо забывать, что он создал образцовые произведения, что ему теперь уже 73 года и что он и тут в конце концов сделал все, что мог.

Но и Мейссонье следовало бы быть благороднее и не принуждать эту невежественную мещанку заплатить ему во что бы то ни стало.

25 февраля.

Я работаю над портретом Дины с упорством, которому нет равного. Я никому не буду его показывать, пока он не будет закончен.

За обедом у нас был Б. и архитектор. Последний давно не приходил, потому что был болен. Брат его все еще болен. Через несколько дней он уедет в Алжир. Берегись «Вифлеемских пастухов»! Если он напишет их раньше, чем я напишу своих «Святых жен», то самая дорогая моя мечта рушится! Ведь обе картины должны передавать вечернее освещение. Если его картина появится первой, мне невозможно уже будет писать свою: подумают, что я подражала ему!

Бастиен Лепаж создал образцовое произведение, изобразив необыкновенную героиню всех времен и народов. А я в своей дерзости считаю себя в родстве со всеми героями, со всеми

шедеврами мира! Можно было бы написать интересную диссертацию на тему о той таинственной связи, которая соединяет героев и образцовые произведения со всеми мыслящими людьми! Ведь солнце и воздух, моря и все красоты природы и мира принадлежат всем!

Я неясно выражаюсь, но есть люди, которые думают так же, как и я — они поймут меня. Остальные же меня не поймут никогда, даже если бы сам Клемансо взялся бы объяснять им это, пустив в ход всю силу своей ясной, точной и блестящей логики. Я в восторге от Клемансо! У него, правда, нет жара, нет страстного одушевления, но и без этого он достигает всего одной только силой ясности выражений.

29 февраля.

Я продолжаю рисовать портрет Дины, но он неимоверно волнует меня. Когда удается уловить подлинную, неподдельную жизнь, подлинную «натуру», — всегда чувствуешь себя взволнованной и какой-то жалкой. Вот наивность великой художницы! Ты хочешь, чтобы тебе сказали, что без этих мук ты оставалась бы только любительницей?.. Отлично!

Но возможно ведь, что я обманываюсь, а люди так глупы и смешны, когда обманываются!

Четверг, 6 марта 1884 г.

Случилось то, что должно было случиться: до открытия Салона осталась только одна неделя, а портрет не готов. О, я спокойна!

Публика и пресса заметила мои картины, которые я послала на женскую выставку. Обо мне с похвалой отзываются в серьезных газетах, где я никого не знаю, где у меня нет никаких связей.

Я подавлена, несчастна, я плачу горько, безнадежно. Я накануне собственного сознания и признания других, что я, действительно, обладаю талантом, — а я больна.

Меня разуверяют, я стараюсь им верить, но это невозможно… Осталось всего восемь дней, а в портрете еще так много надо делать! Я ничего не вижу, ничего не понимаю, — вот уже три месяца, как я не знаю, что делаю.

Ну, что же… восемь дней… Два дня для того, чтобы написать голову, два — для одной руки, один — для другой, один — для платья и день для кисти руки. Не следовало бы отчаиваться, а все-таки… Господи, сжалься надо мною!

Пятница, 7 марта 1884 г.

Так как я все равно не успею уже сделать портрет к сроку, то

я должна знать, не нуждается ли моя картина в каких-нибудь серьезных поправках. Я послала за архитектором, который явился в восемь часов и тотчас же сообщил нам, что его брат приехал с матерью в Париж два дня тому назад. Он очень болен и просит передать мне свое сожаление, что не может лично прийти посмотреть мою картину. Через три или четыре дня он уезжает в Алжир, ничего не приготовив для Салона. Кажется, он в постели. Будем надеяться, что Алжир укрепит его…

Я сделала набросок пером. Он изображает архитектора с веревкой вокруг туловища. Он рвется к столбу с надписью: «улица Ампер»; у края веревки ничком лежит его брат, ухватившись обеими руками за столб с надписью: «улица Лежандр». Я послала ему этот набросок…

Осталось только семь дней, а я снова начинаю надеяться, что портрет будет окончен, хотя ничего, кроме одной руки и фона, не сделано. Это безумие!

Понедельник, 10 марта 1884 г.

Я начала писать портрет Клэр, — выходит довольно недурно. Клэр в шляпе позирует на открытом воздухе. У нее есть выдержка, она отлично позирует.

Наконец-то…

Я в отчаянии, что у меня нет своего портрета в белом платье с обнаженными руками и шеей. И при этом поразительно хорошая постановка. Прекрасное снежно-белое домашнее платье… Я его еще сделаю.

Чрезмерное воображение перенесло меня сегодня перед обедом в Палестину, где я рассчитываю написать своих «Святых жен». Я приготовлю необходимые этюды, закончу картину для выставки и в октябре уеду туда[12].

Воскресенье, 6 марта 1884 г.

У нас было много гостей: Канробер и Марешаль, госпожа Гошон с матерью, Каррье-Беллер, Дюпюи, Поль Дешанель, доктор Геней и другие.

Но я была слишком возбуждена, чтобы разбираться, кто, собственно, приходил и о чем говорили: до 4 часов один визит беспрерывно сменялся другим. Мои картины снесли вниз. Жена маршала, Вилевьейль, Клэр, доктор и я сели в изящные кареты, куда нас проводили все гости, и, между прочим, корректный Поль Дешанель.

Ворота отеля, где выставлены были картины, оказались широко раскрытыми. В это время из приюта высыпала огромная толпа мальчишек. Они столпились и стали глазеть на

приглашенных гостей, стоявших в передней.

Была чудная, ясная погода. Какая масса кропателей! Какая масса картин! Господи, зачем их столько!

Каждый из нас держал под мышкой какой-нибудь маленький портрет в рамке, чтобы беспрепятственно войти в Салон.

Когда эти разбойники-мальчишки увидели седого господина с орденом в петлице и четырех дам с картинами под мышкой, — поднялся отчаянный крик, напоминающий выкрикивания старьевщиков. Раздалось шиканье, свистки. Мы остановились на верхних ступеньках лестницы, несколько ошеломленные этим приемом. Когда же мы проскользнули в залы, опять раздались свистки и еще более пронзительные крики: это встречали других гостей. Все это было бы очень забавно, если бы нам не пришлось ждать прибытия наших картин вплоть до 6 часов.

Вторник, 25 марта 1884 г.

У меня уже готов набросок картины.

Я получила письмо от архитектора, он просит позволения прийти к нам сегодня вечером. «Я знаю», говорит он между прочим, — как хорошо вы относитесь ко мне и к моему брату. Поэтому-то мне и хочется поболтать с вами обо всем, что мучает меня в настоящую минуту».

В виду этих дружеских слов и в виду серьезной болезни его брата, мама и даже Розали строго наказали мне не позволять себе в разговоре с ним никакой шутки: это было бы жестоко и грубо.

Он принес с собою письмо, которое брат его написал своему другу Шарлю Бод (граверу). По моей просьбе он дал мне его прочитать. Восемь страниц, исписанных мелким размашистым почерком, с помарками, — как и у моего знаменитого корреспондента[13]. Письмо написано в тоне очаровательной непринужденности. Тут есть и мнения его «maman» об арабах, и описания прогулок, и отчет о впечатлениях, полученных от этой оригинальной страны, — и от всего этого веет искренностью и сердечной добротой. Так и чувствуется, что автор письма незаурядный человек. Оно дало мне возможность заглянуть в душу человека, которого я почти не знаю. По своему обыкновению, я начала подшучивать, цитировать оттуда целые фразы, представляя их в смешном виде, а в конце концов заявила, что «этот человек совсем не болен»!

Судите сами о произведенном впечатлении… Со всех сторон посыпались восклицания. Архитектор заявил, что это невыносимо, что это значит смеяться над Богом в присутствии священника. Когда я увидела, что он уходит под дурным впечатлением, я стала его же обвинять в том, что он меня не

понял, и в конце концов даже заставила его просить у меня прощения.

Эмиль Бастиен Лепаж передал мне, что более двадцати человек говорили ему о моем пейзаже на выставке «Союза художниц». Дюэз тоже говорил ему о нем, и он решил, что я, несомненно, имею успех, — успех настоящий.

Я в восторге! Как я хорошо сделала, что послала этот пейзаж в Салон!

Суббота, 29 марта.

Сегодня мы идем в итальянскую оперу. Дают «Лючию де-Ламермур», поет Гайяре. Эта божественная музыка никогда не устареет, потому что в ней нет и тени моды. В ней нет ничего тенденциозного, ничего надуманного, — в ней чувствуется только любовь, ненависть и страдание. А ведь только эти чувства и вечны! Вы скажете, что это мелодрама? Мне все равно-лишь бы меня заставляли переживать драму, лишь бы я была искренно тронута. А я была глубоко тронута, когда Эдмонд появился на верхних ступенях лестницы. А как захватывает вас момент, когда он разрывает контракт и разражается проклятиями. Многие говорят, что Гайяре поет в нос и кричит. Кретины! У этого человека дивный голос. Слушая его, забываешь о недостатках школы, методы. Он поет так, как поет иной уличный певец, в котором живет душа истинного артиста. В его пении отражается тонкая, выразительная игра. Вспомните прелестный септет, когда он поет: «si, ingrato, t'amo, t'amo ancor!» Его голос слышишь, несмотря на крики других. Самый лучший актер не в состоянии был бы словами выразить то, что способен выразить Гайяре в звуках своего голоса. И это потому, что у него все выходит просто, естественно, человечно и доступно всем народам, всем классам. Так глубоко искренне выражать свои чувства может только неподдельная человеческая природа, где нет места усвоенной привычке или искусственному воспитанию. Шекспир это понял. Он потому именно и велик, что он ни англичанин, ни аристократ, ни плебей. Он стоит вне всякой эпохи, он так же неизменен и вечен, как неизменны и вечны страдание, ненависть и любовь.

Понедельник, 7 апреля 1884 г.

Сегодня вечером у нас обедает Жюлиан. Этот Жюлиан находит великое удовольствие в том, чтобы говорить мне ужасные вещи на мой счет. И злая я, и нет во мне ничего женственного, и голова у меня фантастическая, и тому подобное… Я уж и не берусь припомнить, сколько он мне

наговорил всяких ужасов, в конце концов все-же лестных для меня…

А после мы болтали о живописи.

Воскресенье, 13 апреля.

Я остаюсь дома, чтобы ответить неизвестному (Ги де-Мопассану), т. е. я-то именно и есть неизвестная для него. Он успел уже три раза ответить. Это не Бальзак, которого боготворишь целиком. Я сожалею теперь, что обратилась не к самому Золя, а к его лейтенанту, у которого впрочем есть талант — и большой. Из молодых мне больше всего нравится он. Я проснулась в одно прекрасное утро с желанием побудить настоящего знатока оценить по достоинству все то красивое и умное, что я могу сказать. Я искала и остановила свой выбор на нем.

Пятница, 18 апреля.

Как я и предвидела, все кончено между нами, — между писателем, которому я хотела довериться, и мной. Его четвертое и последнее письмо глупо и грубо.

И действительно, как я ему и сказала в своем последнем ответе: для таких отношений требуется безграничное поклонение со стороны лица, остающегося в неизвестности. Думаю, что он недоволен, но мне это глубоко безразлично.

Какое это несчастье — быть столь требовательным!

Где то живое существо, перед которым я могла бы вся преклониться?!

Бальзак в могиле, Виктору Гюго 82 г., Дюма-сыну шестьдесят. Он все-таки один из тех, которым я поклонялась и удивлялась.

От среды 23 до воскресенья 27 апреля.

Розали принесла мне с почты письмо от Ги де-Мопассана. Пятое письмо лучше других. Мы уже не сердимся друг на друга.

И к тому-же он поместил в Gaulois прелестную хронику, она меня совсем смягчила.

Как это любопытно! Этот человек, которого я совершенно не знаю, занимает все мои мысли. Думает ли он обо мне? Зачем он пишет мне?

29 апреля 1884 г.

Я занята ответом Ги де-Мопассану.

Ничего другого я и не могла бы сейчас делать: я с страшным нетерпением жду лакировки моей работы. В самом деле, литература меня слишком захватила! Прочь Дюма, Золя, все вы! Я

выступаю! С каким трепетом я раскрою Figaro и Gaulois! Если они станут молчать, — какое это будет глубокое несчастье! А если они будут говорить, что скажут они? Когда я подумаю об этом, сердце замирает, а после начинает тихо, тихо биться.

Четверг, 1 мая.

Отправляемся с Г. в Салон.

Салон! Действительно ли он становится с каждым годом все хуже и хуже, или-же это я делаюсь все прихотливее и прихотливее?

Прямо не на что смотреть. Эта громада картин без убеждения, без мысли, без души поистине страшна. Все это жалкая стряпня, за исключением большого декоративного аппарата Puvis de Chavannes. Этот человек в маленьких вещицах безрассуден, но его большие декоративные полотна прекрасны. Они переносят вас в какую-то чуждую вам, но очень поэтическую архаическую атмосферу. Притом вы не можете сказать, что это: рисунок, живопись или что-то другое, не от мира сего? Скажу еще, что я только начинаю его любить: это совсем новые пути. Видела еще портрет красавицы m-me Саржана. Портрет возбуждает огромное любопытство: его находят жестоким. На мой взгляд, это — сама правда, само совершенство. Он писал то, что видел. Прекрасная m-me* страшна среди бела дня, ибо, несмотря на свои 26 лет, она румянится и белится. Гипсового тона белила придают ее плечам оттенок трупного цвета. К этому она еще красит свои уши в розовый цвет, а волосы в цвет красного дерева. Брови, цвета темного красного дерева — две сплошные темно-бурые линии.

Моя собственная картина — в духе старой живописи. По крайней мере, мне так кажется. И затем я не вижу никакой необходимости дать что-нибудь новое. Что я могла бы изобрести нового в искусстве? Если не для того только, чтобы блеснуть, как метеор, то для чего-же? Показать, что есть талант? Только всего? А затем что? Умереть, ибо умереть придется-же обязательно. Жизнь-же печальна, страшна, черна. Что предстоит мне? Что делать? Куда идти? Зачем? Быть счастливой, — каким образом? Я устала, прежде чем сделала что-нибудь. Я воображением пережила все мирские радости, я грезила о таком величии, что все то, что может выпасть на мою долю, будет или только близко к пережитой мечте, или далеко ниже ее.

Но тогда что-же, что-же?

Завтра, или послезавтра, или через неделю явится какой-нибудь пустяк, который совершенно изменит течение моих мыслей, а затем все это повторится сначала, а там дальше —

смерть.

Пятница, 2 мая 1884 г.

Вчера вечером, вся еще погруженная в похоронные мысли, я все-таки отправилась к m-me Hochon, чтобы выслушать несколько похвал своей картине. Черное платье, декольтированный бархатный корсаж, кусок черного тюля, наброшенный на плечи, и фиалки на груди… Занимались музыкой. Массенэ играл и пел. Пел еще любезный, всегда восхищенный и восхитительный Каролюс Дюран. Там были г-да Флери, Моделэн Лемэр, г-да Франчези и Канробер. К столу меня повел маршал. Затем были еще живописцы: Мункачи с женой, Геберт и др… Надо, в самом деле начать выходить: этот вечер в интимном кругу на меня хорошо подействовал.

Так как лил дождь, то я отправилась к Жюлиану, Он говорит, что, пожалуй не дал бы обеих рук за то, что я получу медаль, но полторы руки он готов поставить на карту, и что он не стал бы этого говорить, если бы не был почти уверен в успехе. Провела хороший вечер с Жюлианом и Тони Робертом Флери. Флери говорит мне, что он подвел своего отца к моей картине, не говоря ему, кто ее написал, и его отец нашел ее très bien, très bien — именно так и сказал!

Воскресенье, 4 мая 1884 г.

С понедельника я ничего не делаю. В течение целых часов я сижу сложа руки. Грезишь ни весть о чем, или же о любви. Гонкур говорит, что у женщин всегда есть какая-нибудь любовная страстишка, вблизи или вдали. Это иногда весьма справедливо.

Вторник, 6 мая 1884 г.

Я с ума схожу от желания писать. Могу ли я писать? А между тем меня словно толкает какая то непобедимая сила. О, это уже с давних пор. Начиная с романа, начатого в 1875 г. и до сих пор неоконченного… Да еще стихи, до того и после, все время… Теперь я дошла до той точки, когда все эти грезы и все схваченные на лету наблюдения хотят словно облечься в плоть. Порой кажется, что у тебя в голове готов сюжет для десятка книг. Не знаешь, с чего начать, и когда принимаешься за осуществление этих грез, останавливаешься на десятой странице.

Я вам потому это рассказываю, что отмечаю здесь все свои отдельные настроения. У меня даже есть масса написанного, но я смеюсь над своими претензиями. Порядочная это была бы глупость — писать! Я борюсь с собой, отказываюсь, говорю себе нет, смеюсь над собой — ибо я слишком боюсь быть смешной в

глазах других, — а страсть эта непреодолима!

Это сладкое безумие, которое делает меня счастливой, перед которым я останавливаюсь взволнованная, возбужденная, словно я об этом серьезно задумываюсь. И, может быть, я слишком серьезно об этом думаю, чтобы признаться в этом даже здесь. Но для этого не хватило бы жизни, в особенности моей.

Всего коснуться своей рукой, и ничего не оставить после себя!

Ах, Господи! я все же надеюсь. Ах, я так труслива и живу в таком страхе, что готова поверить в спасительность церкви.

Суббота, 10 мая 1884 г.

Утром в Салоне с Кларой Канробер. Завтракаем у Канроберов. А после — дома, где собралась целая толпа гостей. Я скучаю. Что значит скучать? Это, вероятно, месяц май меня так волнует. Да, это так!

Вечером в итальянской опере. После панегирики d'Edincelle в «Figaro» меня сильно лорнируют, что меня очень стесняет, так как я не уверена, что хорошо выгляжу. Все эти господа смотрят и лорнируют меня из всех лож.

Среда, 14 мая 1884 г.

Письмо от Ги де-Мопассана. О чем он думает, этот человек? Он бесконечно далек от того, чтобы знать, кто я такая, так как я ни с кем не говорила о нем, даже с Жюлианом. А я, — что я ему скажу?

Моя картина «Жан и Жак» удостоилась лестного упоминания в Ницце. Все наши с ума сходят от радости, исключая меня.

Пятница 16 мая 1884 г.

Отправляемся в Салон. Встречаем не мало знакомых, среди них m-lle Аббема, которая сообщает мне, что ее шурин, M. Paul Манц (из «Temps») признает за мной большой талант. Спустя немного мы встречаем известную художницу, m-lle Ароза. Она с дамой, которая представилась как дочь Поля Манца. Мне представляется немножко глупым повторять все те лестные вещи, которые они мне преподнесли. Если это обыкновенные светские люди, я никогда об этом не говорю, зная, что учтивость требует таких комплиментов. Но когда Аббема и дочь Поля Манца говорят мне о том, что думает обо мне великий критик, они сильно настаивают на своих словах и тем дают мне понять, какое неслыханное счастье для меня представляет лестное мнение такого человека, как он.

Кажется, в «Temps» была статья обо мне. Кроме того я получила 22 или 23 вырезки из различных журналов.

Очень много рассматривают мою картину, много рассматривают и меня. Я впервые одела платье из тонкой темно-синей шерсти, — очень простое и очень шикозное. На голове черная соломенная шляпа в стиле Watteau.

С тех пор, как Бастиен Лепаж болен, я забыла про все уколы самолюбия. Я не боюсь его больше; есть в этом чувстве что-то похожее на удовольствие. Вообразите себе какого-нибудь повелителя, которого привыкли приветствовать издали с униженной сдержанностью и который вдруг упал в овраг, сломал себе ногу и нуждается в вашей помощи.

Суббота, 17 мая 1884 г.

Сегодня вечером у Clovis Hugues. Ну, и любопытно же это было! Какие-то ужасные женщины, косматые поэты, исступленные сумасброды! Когда явился Мистраль, все поднялись с места, даже дамы. Этому несчастному преподнесли уйму стихов. Мистраль напоминает собой великолепного жандарма. Он пропел двадцать или тридцать куплетов, которые публика повторяла за ним хором.

Было меньше знаменитостей, нежели я могла предполагать. В конце концов были только Мистраль, Клодвиг Гюгес, Поль Арен, Жюль Гальярд, а за тем всякая мелюзга.

Я протанцевала один тур польского с Клодвигом Гюгесом. После этого я уехала с вечера в сопровождении m-me Гальярд, которая в восторге от того, что ей обо мне сказал Поль Манц.

20 мая 1884 г.

Роберт Флери говорит, что Дюезу очень нравится моя живопись. Дюез входит в состав жюри, но я буду иметь против себя стариков.

Впрочем, я очень спокойна, занята своей болезнью и планами новых работ. Этот Салон и эти картины, — все это прошлое, а я заглядываю в будущее. Пусть у меня и не будет медали, но ведь мою картину уже заметили.

Среда, 21 мая 1884 г.

Сегодня вечером у нас обедает Жюлиан. Ему не хотелось прийти, говорит он, так как у него нет добрых вестей для меня. Тем не менее все как будто недурно сходит, но когда приходит момент, каждый старается быть на стороже.

Я, такая спокойная, боюсь, что начну волноваться.

Мы прочли несколько писем Ги де-Мопассана и в этом прошел вечер.

Его чрезвычайно занимают письма мои и Мопассана.

Жюлиан, в самом деле, может заменить собой публику. Он, кажется, сделал новое открытие: что я не более как фанфаронка в дерзости, а в корне вещей ребенок, которого способно сразить одно грубое слово. Он говорит, что если бы я только подождала пару дней, я могла-б написать такой ответ Мопассану, что он навеки остался-б в положении глупенького ребенка. Но так как я поспешила, то и вышло наоборот: я сыграла роль маленькой глупенькой девочки, — девочки, которая разочаровалась в своем идоле и этим уничтожена.

Четверг, 22 мая 1884 г.

Я давно уже обещала навестить Каролюса Дюрана и сегодня утром вспомнила про свое обещание. Он принимает по четвергам утром. Мы и пошли к нему.

Этот очаровательный человек одет был в бархатную куртку гранатового цвета, и, поверите ли, когда мы входили, он изображал какой-то испанский танец под звуки гитары, на которой наигрывал его друг. Впрочем, и я после играла на органе, а он пел.

Я становлюсь немного нервозной. Ровно год тому назад я испытывала подобную-же глубокую тоску. Все это пустяки!

Пятница, 23 мая 1883 г.

Открытие выставки Мейссонье в пользу ночлежных домов.

Maman — патронесса выставки.

Там имеется на 6 миллионов картин, и это не больше, чем треть того, что он сделал. Я в темно-сером платье. Встретила многих знакомых. Приятно провела с четверть часа. Оттуда мы отправляемся в Салон. Народу совсем мало. Каролюс Дюран очарователен, как всегда. Я сильно надеюсь, что он подаст голос за меня.

M. N. предупреждает о своем посещении сегодня вечером и говорит: «Не приходите все-таки в отчаяние!»

И легко заметить, что он беседовал обо мне со всеми художниками. Не есть ли это особая тактика со стороны Х., чтобы довести меня до скромности и таким образом купить у меня что-нибудь очень дешево?

Получила несколько слов от архитектора.

«Chère demoiselle!

Все не более, как ослы, — положительно, все! Медали существуют только для ничтожеств. Создавайте еще лучшие вещи, — можно всегда творить все лучше и лучше — это единственный способ отомстить им. Истинный художник стоит выше всех таких интриг. Примите уверение в моей искренней

дружбе и поклонении вам.

Эмиль Бастиен-Лепаж».

Среда, 28 мая 1884 г.

Я ответила М-r Жюлиану:

«Милостивый государь!

Не выводите заключение из того, что я вам вновь пишу, что я очень взбудоражена… (Я не припомню уже письма, но по существу я ему сказала, что, не желая увлекаться, я не могу более предполагать, что Жюлиан способен был сыграть комедию).

Я хотела бы, дорогой наставник, знать, в чем дело, что сказало почтенное жюри, каковы главные недостатки. Почему? Я гораздо хуже думаю о своей живописи, нежели кто бы то ни было; но я, против воли, оглядываюсь направо и налево, смотрю на работы, удостоившиеся медали, и остаюсь погруженной в целое море сомнений. Единственно, что меня интересует, это — хороша или плоха моя картина? Не говорите мне, что она хороша, чтобы меня утешить: лучше вам сказать мне правду и не оставлять меня на ложном пути. Может быть, как раз те вещи, которые я считаю слабыми или нелепыми, именно и хороши; может быть, я просто ошибаюсь, и только. Я знаю, что тот, кто действительно силен, всегда в конце концов успевает, но не с таким запозданием и не с таким трудом!

Мне, право, стыдно так много говорить о себе, но нужно-же защищаться. Я считаю себя очень беспристрастной: я в одно и то-же время и актер, и зритель. Я, зритель, сужу себя — актера. Моя картина хороша не по сравнению с работами призванных мастеров, но по сравнению с теми, которые удостоились медали. Господи, Господи!..

Пятница, 30 мая.

Сегодня вечером у маркизы С. Там были m-me Краус, виконтесса Тредерн, принцесса Жанна Бонапарт и др.

Графиня Тредерн — grande dame, которой сделали чудовищную рекламу, как аристократической певице. Она красива, необычайно богата и поет очень хорошо. В общем итоге — один из редких талантов большого света.

Я мрачна и думаю о философии любви и о любви философов. Все эти люди вокруг меня заняты были вполне реальными вещами, между тем как я погружена в грезы…

Понедельник, 2 июня 1884 г.

У нас обедает Эмиль Бастиен Лепаж. Его брат прибавляет только несколько слов к письму своей матери. Он уже не пишет

даже близким своим друзьям, не работает больше и страшно страдает физически и морально. Он пишет: «Поблагодари за меня г-д Башкирцевых и уверь их в моих дружеских чувствах. Я читал в журналах статьи о m-lle Башкирцевой и меня нисколько не удивляет ее успех».

Добрый архитектор говорит, что мне уже одним тем выдана медаль, что все художники отметили мою картину, что меня знают и что я имела истинный успех.

У меня явилась идея новой картины. Мне это пришло в голову в три часа, а сегодня вечером за обедом я с такой отчетливостью увидела перед собой то, что я думаю сделать, что это заставило меня подскочить, точно у меня в кресле оказалась пружина.

У меня сильное тяготение к сюжету в новом вкусе, с многочисленными обнаженными фигурами; полотно не должно быть слишком велико.

Да, непременно я так и сделаю. Именно, ярмарочные борцы, а кругом народ. Будут голые торсы, чтобы показать, что я умею рисовать обнаженное тело. И люди кругом. Это будет очень трудно, но раз это меня захватывает, то больше ничего и не требуется: опьянение, вот и все!

Суббота, 21 июня 1884 г.

Я похудела до невозможности. Уже два месяца, как можно день за днем наблюдать эту прогрессирующую худобу. Это уже не Венера, это уже Диана. Диана может быть похожей на Кащея.

С виду я здорова и живу, как всегда. Но у меня каждый день лихорадка: то днем, то ночью. И затем кошмары, галлюцинации.

Ученики Мопассана, не приписывайте этого состояния бессоннице стареющей девы. Нет, мои бедные друзья, это не то. Любовные грезы… я погружаюсь в них каждый вечер, чтобы скорей заснуть, если только я не думаю о какой-нибудь картине. Нет, это настоящая лихорадка, — утомительная и притупляющая.

Я решилась поэтому посоветоваться с д-ром Потэном. Вы понимаете, это не такой момент, когда бы хотелось умереть. В светских журналах Парижа и Англии имеются хвалебные статьи обо мне.

Мое платье и прическа на вечере в русском посольстве обошли всю прессу. Прическа Психеи, — говорят они.

У меня есть пятьдесят журналов, в которых говорится о моем салоне, и серьезные критические статьи. За мной начинают признавать талант, а я между тем угасаю.

Я прочла новую книгу Додэ, от которого Париж сходит с ума. Она называется «Сафо». Я ее прочла два раза, желая заключить

мир с стилем Додэ, который меня нервно утомляет.

Неужели я ошибаюсь в своем суждении? Читаешь, и перед тобой все так мелькает… мелькает… летит вперед… быстро, быстро. Все неудержимо бежит и рассыпается по сторонам. Читатель силится следить, затаив дыхание. Все какие-то обрывки фраз, случайные заметки, вскользь, брошенные человеком, полным сожаления и сострадания к вам и слишком занятым, чтобы сказать вам все, что он знает… И всегда что-нибудь зловещее, мрачное в темных намеках по поводу какой-нибудь, к примеру сказать, жареной картошки. Это похоже на картину, нарисованную резкими мазками. Глаз судорожно сжимается и не находит на чем остановиться и отдохнуть. Это какое-то пиччикато без конца и краю.

В какое негодование это должно привести Золя! Но он не выскажет этого. Если он станет поносить Додэ, кого же он станет хвалить? А ведь нужно делать вид, что любишь других, а не себя. Он курит фимиам Гонкуру и Додэ, чтобы не иметь вида, будто он боготворит себя одного.

Среда, 24 июня 1884 г.

Похоже на то, что у нас будет холера. Она уже в Тулоне. Эти проклятые англичане ради барышей заставляют умирать миллионы людей. Если есть какой-нибудь народ, лишенный всяких симпатичных черт, то это именно англичане. Они мудры и отвратительны, эгоистичны и трусливы, — взгляните на их историю.

Более 8000 человек покинули Тулон. Добрая часть их приезжает сегодня в Париж с утренним поездом. Это очень приятно для Парижа.

В палате депутатов, казалось, все были так взволнованы, что никого больше не интересовал египетский вопрос.

Ах, интересно бывает изучать человека, когда он становится совершенно натуральным, поставленный лицом к лицу с вопросом о жизни и смерти. Все люди становятся примитивны, и даже Жюль Ферри смотрит на вас взглядом, напоминающим взгляд моего маленького шестилетнего натурщика.

Взгляните-ка на них, этих животных, в рединготах и жилетах, как они спешат за объяснениями к морскому министру! Посмотрите-ка на эти стада, обреченные на то, чтоб сегодня или завтра издохнуть, и которые сознают это и все-же волнуются! Для чего? Мы все умрем, что бы мы ни сделали, как говорит Мопассан.

Мы знаем, что все умрем, что никто не может этого избежать, и все-же у нас хватает духу жить под этой вечной страшной

угрозой!

Не боязнь ли полного конца, внезапного прекращения существования, толкает людей непременно оставить что-нибудь после себя? Да, те, которые сознают неизбежность конца, страшатся его и хотят пережить самих себя.

Не служит ли этот инстинкт доказательством, что существует бессмертие, или же что мы его, по крайней мере, жаждем?

Перестать жить, исчезнуть! А там придут другие! Разве я год тому назад не хотела умереть, потому что не надеялась оставить после себя имени, подобного Микель-Анджело?

6 июля.

Я боюсь наскучить Бастиен-Лепажу. Я не чувствую, чтоб ему приятно было меня видеть, хотя он и любезен со мной.

Что-то, чего и сама не знаешь, какие-то мимолетные мерцания делают то, что ты завоевываешь себе доверие человека. Мне-же этого не хватает. Он очень избалован, — этот человек, — чересчур привык к людям, которые лежали бы у его ног. Как-же тогда? Я и сама привыкла к тому, чтобы мою дружбу высоко ценили. А он такой крупный художник! Существо, стоящее неизмеримо выше других! Он знает, что я понимаю и боготворю его живопись. Я отправилась искать борцов в сопровождении Розали. Кажется, борцы работают не под открытым небом, а в бараках и специально по вечерам. Это меняет все, ибо я не хочу рисовать при вечернем освещении, уличные типы меня не занимают.

notes

Примечания

1

Journal I, Preface.

2

Сюжет картины — «Святые жены после погребения Христа».

3

Это, очевидно, намек на ее ребяческую любовь к Пьетро Антонелли. *(Примеч. редактора.)*

4

Героиня одного из рассказов Ги-де-Мопассана.

5

Речь идет об одной из газетных статей Ги-де-Мопассана по поводу карнавала. *(Примеч. редактора.)*

6

Слыша нежные тоны благородного раскаяния, должна ли я перестать вас ненавидеть?

Мак-Магона.

8

Знаменитый Парижский дамский портной, магазин которого, особенно во времена второй Империи, пользовался всемирной известностью.

9

Дело, очевидно, идет о Кассаньяке.

10

Золотая посредственность.

11

В это время Башкирцева страдала глухотой, что она всячески скрывала от посторонних. *(Примеч. редактора.)*

12

В октябре она умерла.

13

Здесь разумеется Ги-де-Мопассан. *(Примеч. редактора.)*